

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ
ЛЮБВИ И СМЕРТИ
(СБОРНИК)

Георгий Баженов

**Вариации на тему любви
и смерти (сборник)**

«Баженов Георгий Викторович»

1997

Баженов Г. В.

Вариации на тему любви и смерти (сборник) / Г. В. Баженов —
«Баженов Георгий Викторович», 1997

ISBN 5-7838-0133-0

Можно ли терпеть насилие над любовью? Над чистотой и святостью человеческой жизни? Герой повести «Иду на смерть» восстал против тирании зла и насилия, поставив на карту собственную жизнь: он сам вершит суд над злодеями и убийцами. Сюжет повести захватывающ и трагичен. Защитить любовь, защитить семью – вот нерв повествования. Теме любви и брака посвящены многие произведения Георгия Баженова. Среди них – его знаменитые повести «Люблю и ненавижу», «Бедолага», «Метаморфозы», «Вариации на тему любви» и другие. Нежность и страсть, верность и измены, безумство ревности и смерть от неразделённой любви – вот о чем рассказывает писатель в своей книге.

ББК 84

ISBN 5-7838-0133-0

© Баженов Г. В., 1997

© Баженов Георгий Викторович, 1997

Содержание

I	5
Метаморфозы	5
Люблю и ненавижу	50
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Георгий Баженов

Вариации на тему любви и смерти

I

Метаморфозы

- *Что это такое – локус минорис резистенциэ?*
- *Место наименьшего сопротивления, – ответил врач. – По-латыни: Locus minoris resistentiae.*
- *И что это за место у человека?*
- *У каждого свое, – ответил врач. – У многих – сердце.*

Евграфов умер неожиданной смертью: в чужой квартире, в постели любовницы, от сердечного приступа.

Было мнение: Евграфова доконала Жан-Жанна. Шутка ли, на двадцать один год моложе старика. Евграфов любил жизнь, любил женщин, но ухитрился делать свои дела так, что невозможно было понять: есть у него женщины или нет. Улыбнется только, усмехнется – и все.

И вот – умер.

Однажды к жене Евграфова, прямо на улице, подошел незнакомый мужчина.

– Извините, ради бога, Екатерина Марковна, – начал он, запинаясь, – я, собственно, хотел извиниться...

Жена Евграфова не терпела уличных разговоров, а тут, услышав свое имя и отчество от незнакомого мужчины, просто испугалась.

– Простите, но... кто вы? Что вам нужно?

– Я – муж Жан-Жанны. – Он опустил голову.

– Ах, вон что! – Екатерина Марковна вспыхнула – от стыда, унижения, а еще больше – от нелепости ситуации. И быстро-быстро засеменила прочь от мужчины.

Он не стал догонять ее. Просто стоял, переминаясь с ноги на ногу, и с тоской смотрел ей вслед.

Через неделю в квартире Екатерины Марковны раздался телефонный звонок. Жена Евграфова подняла трубку.

– Простите, Екатерина Марковна, что вновь беспокою вас. Это – муж Жан-Жанны.

– Слушаю, – холодно произнесла Екатерина Марковна.

– Дело в том, что у нас остались некоторые вещи вашего мужа...

– Можете выбросить их.

– Видите ли, в «дипломате», среди прочих вещей, есть запечатанный конверт.

– Меня не интересуют его письма.

– Конверт без адреса. На нем крупно выведено: «На случай моей смерти – распечатать».

– Можете распечатать, мне все равно.

– Не могу. Письмо, вероятней всего, адресовано вам.

– А вдруг вашей жене? – горько усмехнулась Екатерина Марковна.

– Не думаю. Во всяком случае, официально женой Евграфова являетесь вы, а не Жан-Жанна.

– И вы можете спокойно говорить об этом?

– Я вынужден говорить...

– Одним словом, – прервала его Екатерина Марковна, – все, что связано с моим мужем и вашей женой, мне абсолютно неинтересно. И прошу впредь не беспокоить меня.

И положила трубку.

Еще через неделю на имя Екатерины Марковны пришла посылка: обшитый белой наволочкой «дипломат» Евграфова. В «дипломате» оказались запасная рубашка Евграфова, тапочки, носки, запонки, колода карт, валидол, а в отдельном кармашке – номер «Литературной газеты», чистые листы бумаги, шариковая авторучка «Паркер» и злополучный конверт: «На случай моей смерти – распечатать».

Как-то Екатерина Марковна возвращалась с работы домой. Обычно от метро «Сокол» она выходила переулками на улицу Алабяна, пересекала ее у моста, затем шла тихими, почти деревенскими, улочками небольшого московского поселка художников (дома здесь сплошь деревянные, с садами и даже огородами – райский островок в безбрежном море высотных домов) и, наконец, выходила к своему дому, многоэтажной тяжелой коробке на улице Панфилова, на третьем этаже которой и располагалась ее пустынная квартира. Правда, мимо дома, со стороны фасада, день и ночь проносились электрички, пассажирские и грузовые поезда, которые когда-то раздражали, когда жизнь в доме кипела и шумела, а теперь грохот железной дороги привносил в мертвенную тишину квартиры не только странное успокоение, но и некоторую радость: все-таки жизнь не кончилась, продолжается, вон она – шумит, гудит, движется...

Подходя к своему дому, Екатерина Марковна обратила внимание на шум и возню около соседнего подъезда.

– И правильно, и забирайте его! Ходят тут всякие, ходят... – услышала она знакомый голос.

Знакомый? Ну да, это был голос Марка Захаровича, пенсионера из соседнего подъезда, грозы всего дома. Грозность его заключалась в том (нелепая и смешная грозность), что он везде и всюду стремился навести порядок: «Как полагается!», совал нос во всякую неурядицу, а таковой ему представлялась любая чужая жизнь.

– Ну так что, гражданин, сами пойдете... или?.. – Это уже был голос милиционера; рядом стоял еще милиционер; тут же, с ярко зажженными фарами, поджидала специальная машина.

– А вон и Екатерина Марковна! – от этого возгласа, как от выстрела, Екатерина Марковна испуганно вздрогнула. – Екатерина Марковна, ну хоть вы-то им скажите!..

Она невольно замедлила шаг, стала пристально шуриться – страдала близорукостью, а очки носить не любила, особенно на улице.

– Екатерина Марковна!

Ногами, будто налившимися свинцом, она направилась к группе людей.

– Старший сержант Поликарпов! – козырнул ей милиционер. – Простите, это вы будете Евграфова Екатерина Марковна?

– Да, я, – ответила она. – А что случилось?

– Вот этот гражданин, по паспорту Нуйкин Семен Семенович, утверждает, что поджидает именно вас. Между прочим, в нетрезвом состоянии. Вы знаете этого гражданина?

– Екатерина Марковна, да скажите вы им!.. – Он смотрел на нее умоляюще. Ей и хотелось бы сказать: нет, не знаю такого, но совесть не позволяла: ведь она знала его, хоть и знать не желала, – это был муж Жан-Жанны.

– Так знаете вы этого гражданина или нет? – Старший сержант Поликарпов истолковал заминку Екатерины Марковны в том смысле, что тут наверняка какая-то пикантная и запутанная история.

– Они часа два тут и ходют, и ходют... подозрительный такой из себя человек, в очках, – вставил слово пенсионер-общественник Марк Захарович. – Я сразу сообразил – и в милицию, и в милицию...

– А вы помолчите пока, товарищ! – бесцеремонно оборвал его Поликарпов. – Ну, так что будем делать с гражданином Нуйкиным, Екатерина Марковна? Знаете вы его или, может, знаете, да вот неожиданно забыли?

Екатерине Марковне послышалось в интонации этих слов что-то оскорбительное, она вспыхнула и выпалила раздраженно:

– Да, знаю!

(А что оставалось делать?)

– Таким образом, – вновь козырнул старший сержант Поликарпов, козырнул с разочарованием, – вы утверждаете, что мы можем оставить товарища Нуйкина под вашу ответственность?

– Да, можете, – кивнула она. А что, нужно было сказать: нет, не утверждаю, забирайте его? Но совесть и что-то еще, чему она не могла пока дать объяснения, не позволили Екатерине Марковне сделать это.

– В таком случае – всего доброго. Извините! – Поликарпов козырнул на прощание, милиционеры сели в машину, которая резко осела под их одновременным движением, и машина тронулась с места, полоснув ослепительным светом по лицу Марка Захаровича. Он испуганно ойкнул, прикрываясь потрепанным рукавом пальто, и отшатнулся в сторону.

Стало темно; Екатерина Марковна и Нуйкин стояли друг против друга. Неподалеку, никуда не уходя, с пристальным вниманием наблюдал за ними Марк Захарович.

– Пойдемте! – резко проговорила Екатерина Марковна и, развернувшись, пошла по направлению к своему подъезду. Нуйкин, стараясь не пошатываться (ему, конечно, было стыдно; а впрочем...), пошел следом за Екатериной Марковной.

Они уже скрылись в подъезде, прошло минут пять или шесть, а Марк Захарович, как всякий человек на посту, продолжал стоять на своем месте, не веря ни увиденному, ни услышанному. Он чувствовал, нутром изнывал: тут подвох, явный подвох... А вот какой? И только когда в окнах квартиры Екатерины Марковны вспыхнул свет, Марк Захарович поплотней закутался в свое длиннополое, на манер шинели, обтрепанное пальто, примечательностью которого были еще и золотые пуговицы железнодорожника, и разочарованно вздохнул. Но тут спасительно-ядовитая мысль засеребрилась в его мозгу: «А на вид вроде порядочная женщина... Не успела мужа в могилу спихнуть, а уж Семен Семенычи появились. Ну, народ, ну, народ!...» И, разгоряченный этой мыслью, спасенный ею от смертной скуки, которая одолевала его в холостяцкой, давно потерявшей всякое человеческое тепло однокомнатной квартирке, Марк Захарович отправился восвояси.

– Раздевайтесь, что же вы! – гораздо грубей и резче, чем, в сущности, хотела бы, проговорила Екатерина Марковна, включив в прихожей свет.

– Я, собственно... – начал лепетать Нуйкин, поправляя в нерешительности очки на переносице. – Вы извините...

Екатерина Марковна, даже не взглянув на него, повесила свое пальто на вешалку, сняла платок с головы, поправила волосы.

– Раздевайтесь. Откуда вы только взяли на мою голову... – И прошла в кухню.

Нуйкин начал раздеваться, снял пальто, а когда расшнуровывал ботинки, наклонился и чуть не упал, потеряв равновесие. Собственно, он бы упал, но вовремя уперся руками в тумбочку; тумбочка наклонилась, но не перевернулась, а встала на место.

– Ну, что тут у вас? – Екатерина Марковна вышла из кухни (поверх платья она успела надеть фартук). – Что, чуть тумбочку не уронили? Хорош, хорош, ничего не скажешь... Как вас по фамилии? Нуйкин, что ли?

– Нуйкин. Семен Семенович, – одернув пиджак и поправляя галстук, бодро, как бодрятся все крепко выпившие мужчины, ответил тот. – Я, собственно, к вам. Извините, просто не к кому. Я к вам посоветоваться...

– Посове-е-товаться? – удивленно проговорила Екатерина Марковна. Проговорила не только удивленно, но и насмешливо.

– Да, если позволите. – Он снова одернул пиджак, стоял перед ней навтыжку: на одной ноге – ботинок, на другой – носок. – Вы не смотрите, что я нетрезв... я давно вас жду. Часа два...

– О чем вы можете советоваться со мной? Вы? Со мной? Вы хоть понимаете, как это нелепо звучит? Ладно, – махнула она рукой, – раздевайтесь. Проходите на кухню. – И опять ушла.

Он разделся, хотел надеть тапочки, которые стояли у порога, но вдруг узнал их, ведь это тапочки, которые лежали в «дипломате», и его от отвращения передернуло. А может, вовсе и не те тапочки? Черт их знает... Он прошел на кухню в носках.

– А тапочки? – нахмурилась Екатерина Марковна.

– А-а, я так! – Он сделал неопределенное движение рукой. – Не фон-барон.

– Чай будете? – Она смотрела на него в упор, без снисходительности, без мягкости.

– Да, если можно...

– Садитесь... – Показала на табуретку.

Кухня была просторная. То есть настолько большая, с такими высокими потолками, что Нуйкин и не помнил, чтобы видел когда-нибудь подобное. Вытянув ноги, сложив руки на коленях, Нуйкин с удивлением и уважением оглядывал кухню.

– Когда-то это была коммунальная квартира. – И все, больше ничего не стала добавлять Екатерина Марковна, правильно истолковав взгляд Нуйкина.

– И сколько семей тут жило? – спросил Нуйкин.

– Три.

– Понятно. – И после некоторой паузы: – А теперь?

– Вам это очень интересно? – опять без всякой мягкости, почти грубо спросила Екатерина Марковна.

– Да нет, я так... – смутился Нуйкин. И как-то странно, нелепо, а может, стыдливо хихикнул.

Екатерина Марковна взглянула на Нуйкина с презрением. Поставила перед ним чашку дымящегося чая. Налила чаю и себе. Нарезала сыра, хлеба. Поставила масло.

Помешивая чай, Нуйкин громко (руки дрожали) стучал ложкой о края, Екатерина Марковна морщилась.

– Так о чем вы хотели посоветоваться со мной?

Нуйкин не знал, с чего начать; отпил чаю, обжегся, закашлялся.

– Видите ли... – начал он. – Извините... – И закашлялся всерьез. Надолго.

– Вы, наверное, выпить хотите? – спросила Екатерина Марковна.

– Да, не отказался бы, – признался Нуйкин.

– Вот этого как раз и не будет. Обойдетесь! – отрезала Екатерина Марковна.

– Да? – удивился Нуйкин неожиданности ее логики.

– А вы как думали? Пьянствовать будете у меня? Достаточно того, что притащились без всякого приглашения.

– Да нет, я ничего... Мне только нужен один совет. Дело в том, что я... Сами понимаете, Екатерина Марковна, мое положение... я подал на развод...

Екатерина Марковна продолжала смотреть на Нуйкина строго, придирчиво, никак не выражая в словах своего отношения к услышанному.

– Понимаете? – переспросил Нуйкин. Лоб его покрылся испариной.

Екатерина Марковна кивнула: мол, понимаю, а дальше что? А, впрочем, снисходительности ради, с некоторой паузой произнесла:

– Давно пора.

И с нажимом добавила:

– Я вообще не понимаю, как можно жить с такой женщиной.

– Но я ничего не знал! – протестующе воскликнул Нуйкин.

– Бросьте! Все вы знали. Просто лгали себе.

– А вы?

– Что – я? – Екатерина Марковна окинула Нуйкина ледяным взглядом.

– Вы разве не знали?

– Мало ли что я знала... И потом – мне было все равно.

– Что-то я не совсем понимаю...

– А это и неважно – понимаете вы или нет. Вы для чего пришли сюда? Для этого?

– Простите, – согласно закивал головой Нуйкин. – Конечно, нет, не для этого. Но, видите ли, я... в некотором роде... считаю нас собратями по несчастью. Хотя ваше несчастье, конечно, несоизмеримо с моим. У вас умер муж.

– Туда ему и дорога.

Тут Нуйкин поперхнулся, так что хлеб с сыром, который он только что откусил, крупными крошками разлетелся по кухне. Екатерина Марковна проследила за траекторией крошек, спокойно произнесла:

– Вон тряпка. – Кивок на раковину. – Убирайте сами. Не фон-барон, правильно заметили.

Нуйкин нестерпимо покраснел; вообще в жизни он краснел часто, но тут его окатил жаром особый стыд – за свою неряшливость, бескультурие, да и стыд за унижительность своего положения тоже был. Небольшого роста, плотный, с крупными залысинами, с лицом вечно несчастного, грустного мима, Нуйкин выглядел в эти минуты довольно живописно: именно таких мужиков презирают женщины, чтобы тем самым еще больше возвыситься в собственных глазах.

Красный, разом вспотевший, Нуйкин прошел к раковине, взял тряпку, намочил ее и, неловко приседая, кряхтя, начал то там, то сям собирать крошки на полу обширной кухни.

Екатерина Марковна продолжала пить чай; по возрасту она, пожалуй, приходилась ровесницей Нуйкину, лет под тридцать пять обоим, но выглядела помоложе гостя, свежей, что ли, и главное – в посадке ее головы, во взгляде, в аккуратно уложенных черных волосах, в воинственности орлиного носа, в темных пронзительных и беспощадных глазах – во всем ее облике чувствовалась уверенность в себе, непреклонность и даже властность характера. Именно от таких женщин чаще всего сбегают мужья.

– И вон там еще забыли, – как бы между прочим произнесла Екатерина Марковна.

Нуйкин поднял на нее встревоженный взгляд, при этом умудрился покраснеть еще больше, чем прежде:

– Где?

– Вон, в углу, – показала она.

В самом деле, Нуйкин увидел там крошки. Бросился собирать их. И только после того, как, кажется, собрал все до единой, промыл тряпку в раковине и развесил ее на кране сушиться.

– Так о чем вы хотели посоветоваться со мной? – Екатерина Марковна показала Нуйкину на табуретку.

Нуйкин покорно сел. Склонил голову. Уперся руками в колени.

– Дело в том, что в последнее время многие отвернулись от меня...

«Еще бы!» – подумала Екатерина Марковна.

– Как будто это я что-то совершил, а не жена... На нее-то наоборот – как на героиню смотрят.

– Жена загуляла – муж виноват, муж загулял – жена виновата, у нас так, – бесстрастно подтвердила Екатерина Марковна.

– Вот-вот... А разве это я виноват? – встрепенулся Нуйкин.

– Виноватых у нас никогда нет, – жестко сказала Екатерина Марковна.

– Не знаю-у... – протянул Нуйкин. – Я своей вины ни в чем не вижу.

– А разве не потворствовали жене?

– В чем?

– Ладно, не в ту сторону поехали, – оборвала Екатерина Марковна. – Так что вы хотели сказать?

– Видите ли, я подал на развод. Мне нужна помощь... однако все отвернулись от меня.

– Какое вам дело до «всех»?

– Мне нужен друг. Сообщник, что ли. Дело в том, что есть только одна причина, по которой развод в суде оформляется немедленно.

– А вам, конечно, нужно немедленно? – усмехнулась Екатерина Марковна.

– Да. Жить рядом с женой для меня пытка. Я больше не могу. Я ее ненавижу.

– Ну, и при чем здесь я?

– В заявлении в суд я написал, что наш брак с женой давно распался, так как фактически я поддерживаю супружеские отношения с другим человеком. При этом считаю необходимым оформить эти отношения юридически.

– Опять тот же вопрос: при чем здесь я? – Екатерина Марковна посматривала на Нуйкина даже с некоторым интересом.

– Видите ли, я уже говорил, что считаю нас с вами в некотором роде собратями по несчастью. Поэтому надеюсь на вашу помощь. Помогите мне, Екатерина Марковна!

– Да в чем?

– Если на суде меня спросят, кто именно тот человек, с которым якобы я поддерживаю супружеские отношения, нельзя ли мне сослаться на вас?

– То есть как? – изумилась Екатерина Марковна.

– Ну, я скажу: это, мол, такая-то, Екатерина Марковна Евграфова, проживает по такому-то адресу и так далее...

– Да вы сумасшедший! – невольно вырвалось у Екатерины Марковны.

– Но это же понарошке. Только чтоб развели поскорей. И чтоб человек был реальный. Чтоб в случае чего подтвердил: да, так все и есть. А больше мне ничего не надо. Ничего! Помогите, Екатерина Марковна!

– Нет, вы определенно ненормальный, – с нажимом произнесла Екатерина Марковна. – Мало того, что муж путался с вашей так называемой Жан-Жанной, так вы еще меня хотите вплести в эти дела. Да вы представляете, о чем вы вообще говорите?! Или вы настолько спились, что потеряли всякое представление о реальности?

– Я не спился. Я вообще не пью. А это так – для храбрости. От растерянности.

– Знаете что, Нуйкин, избавьте меня от ваших объяснений. Кто вы, что вы, какие там дела у вас с женой, – меня не интересует. Все! И на этом конец! – Екатерина Марковна поднялась с места.

Нуйкин в смятении и даже в некотором испуге тоже привстал с табуретки.

– Я ведь только хотел... думал, вы, как собрат по несчастью... А вы не поняли. Обиделись. Зря! Я не хотел... извините!

– Все! Все! Ей-богу, есть предел человеческому терпению. Вся эта грязная история мне вот так надоела! – Она чиркнула ладонью по горлу. – Уходите!

– Ухожу, ухожу. – Нуйкин, прижав руки к груди, округлив глаза, попятился к выходу.

– И чтоб больше не звонили мне! Не ходили! Не торчали! Чтоб духу больше вашего не было! – не на шутку разошлась Екатерина Марковна.

Семен Семенович поспешно оделся, причем в последнюю секунду выронил из рук портфель, откуда веером посыпались газеты, журналы, пробки от пивных бутылок.

– Я сейчас, сейчас, мигом... – В спешке он засовывал газеты и журналы как попало.

– И пробки забирайте! Не пьет он... А чего пробки с собой таскаете?

– А это, – он поднял на нее глаза, – я пиво пил. Не выбрасывать же пробки на улице?

– Ишь какой... Ну, ладно, забирайте все поскорей!

Наконец он вышел за двери.

– Извините, Екатерина Марковна, я... – Он хотел еще что-то сказать, оправдаться, но Екатерина Марковна решительно захлопнула дверь прямо у него под носом.

Вот так же хлопнула она дверью, когда Евграфов пошел умирать к Жан-Жанне. Он, конечно, не знал, что пошел умирать, и она не знала, никто не знал, но именно так все случилось. Она спросила его тогда:

– К девкам своим потащился?

И он ответил. Он усмехнулся:

– Ну да. К девкам.

– Чтоб ты сдох там! – И с грохотом захлопнула дверь.

И он пошел к Жан-Жанне. Он сначала усмехнулся, затем улыбнулся и пошел. Его устраивал гнев жены. Злитесь – значит, можно взять портфель, повернуться и уйти. А она хлопнет дверью. Самое глупое, что делают жены, – это когда злятся на мужей. Когда ненавидят их. Тогда-то именно спокойно делайте все, что вздумается. Жена может пронять мужа равнодушием. Безразличием. Молчанием. Презрением, наконец. А гневом – нет. Бранью – нет. Ненавистью – нет. Впрочем, о чем тут говорить, вы сами все – мужья и жены...

Вообще-то Евграфов в последнее время хандрил. Давило что-то. Если бы позже, мертвый, он мог осознать прошлое, он бы понял, что это было предчувствие конца. А он к смерти относился насмешливо. Смерть – она есть, да не про нашу честь. Не в пятьдесят же четыре года умирать, в самом-то деле? А ведь вот давило что-то, мучило... что?

С Жан-Жанной он познакомился не так, как знакомился с другими женщинами. Не так – то есть не напрямую: не взял вот прямо на улице и пристал, или приглядел, например, в ресторане, или встретил у приятеля на выставке. Собственно, живописью интересовалась Марьяна Иоанновна, ее мать; маленькая двухкомнатная квартира в Бабушкине; внучка Барбара девяностидесяти лет; книги, картины, серебро; Марьяна Иоанновна была отчасти иностранных кровей, отсюда особые манеры, горделивость, чувство собственного достоинства. Евграфову нравилось бывать у Марьяны Иоанновны потому, что она и в самом деле любила живопись импрессионистов. Многие, кому Евграфов сбывал копии Дега или Писсарро, Мане или Сислея, Ренуара или Клода Моне, хапали картины либо по глупости, либо из горделивого высокомерия: у меня вот есть, е-е-есть, а у тебя? Да мало ли нюансов в купле-продаже картин (копий, конечно), а вот Марьяна Иоанновна обожала импрессионистов искренне. Настолько искренне, что, например, постимпрессионистам уже не находилось места в ее сердце. Гогена или, скажем, Ван-Гога она знать не хотела (какой это *импрессионизм*, пусть даже и пост? – это же сущий примитивный *реализм!*), исключение делала только для Сезана, считая его живопись промежуточной между импрессионизмом и постимпрессионизмом. Бывая у Марьяны Иоанновны (копии Евграфов всегда сам доставлял на дом, такое было золотое правило), Евграфов нередко задерживался в этой тихой уютной квартире – посидеть с Марьяной Иоанновной за чашкой кофе, поговорить о том о сем, просто отдохнуть перед дальней дорогой: заказов много, клиенты ждут и несть им числа... Тешила сердце Евграфова и внучка Марьяны Иоанновны, Барбара. Тешила главным образом одной, исключительно редкой в наши дни чертой характера – послушанием. Нет, она не была ни забита, ни глупа, – она относилась с любовью, с обожанием, с уважением к бабушке, – отсюда радостное, раскованное, счастливое послушание. Удивительно! Лег-

кий человек, любивший радость, праздничность и сиюминутность жизни, Евграфов уставал от бесконечной – явной или тайной – семейной борьбы. Уставал от того, что женщина, будь она хоть мать, хоть жена, хоть дочь, не видит никакого другого назначения на земле, кроме *борьбы* с мужчиной, будь он сын, муж или зять. Никто и нигде, никакие женщины (в семье, только о семье разговор!) не слушаются, не почитают, не уважают мужчину, как главу рода, как кормильца, как человека, дающего жизни возможность быть полной, радостной, счастливой, осмысленной. Удивительно! А ведь есть, есть другие примеры в жизни – вот хоть Барбара и ее бабушка, Марьяна Иоанновна. Пусть тут нет мужчины, но тут есть почитание старшего, уважение к нему, любовь и трепетность перед его авторитетом. Кстати, отца у Барбары вроде как бы и не было (так из нескольких мимолетных объяснений понял Евграфов), и мать Барбары – дочь Марьяны Иоанновны – решила всерьез заняться своей судьбой, вышла замуж, оставив дочь на попечении бабушки, а тем только это и нужно было...

И вот так однажды Евграфов сидит у Марьяны Иоанновны, пьет кофе из тонкого китайского фарфора, ведет неспешные разговоры об особой загадочности колорита Моне, если вспомнить, например, «лондонский» цикл его шедевров, с чем Марьяна Иоанновна была бесспорно согласна: «Да, да, это действительно загадка, сплошной туман, Темза и вдруг – сиреневый-сиреневый! – Бит Бэн, сиреневая Тауэр, это поразительно, просто чудо!..» – и тут звонок в дверь, Барбара открывает, и слышен ее тонкий радостный голос: «Ой, мамочка, ты такая холодная, как льдинка!»

Евграфов удивленно-вопросительно взглянул на Марьяну Иоанновну.

– Извините, – улыбнулась она, – я на минутку. Это, кажется, Жан-Жанна, дочь... – И оставила Евграфова одного.

Естественно, затем последовало знакомство, и, помнится, Евграфова с первой минуты пронзило: все будет! У Жан-Жанны были свободные, широкие движения, глаза смотрели удивленно и требовательно одновременно, пухлые сочные губы, слева над верхней губой маленькая, как малиновая бусинка, родинка и, разумеется, светлые пышные волосы. Первая же улыбка, которой она одарила Евграфова, словно говорила: «Ах ты старый, хитрый плут, ишь, загляделся, ну посмотри, посмотри, не жалко, да и что может быть жалко молодой женщине, мечтающей только об одном – о счастье!..»

Живописью Жан-Жанна не интересовалась (или делала вид, что она ей совершенно безразлична, – ох, бестия!), на тонкие, глубокомысленные разговоры Евграфова о картинах, пейзажах, колоритах не реагировала. Изредка, ни с того ни с сего, начинала громко и обидно смеяться (а почему обидно – чуть ниже), Евграфов морщился, а Марьяна Иоанновна всякий раз произносила:

– Жан-Жанна, ну как можно...

Дело в том, что, когда познакомились и Евграфов, как обычно, вполне серьезно представился «Кант Георгиевич!» – Жан-Жанна посмотрела на него как на сумасшедшего и, не выдержав, взорвалась от смеха:

– О Господи, везет же мне на идиотов!

– Жан-Жанна... – Это, конечно, голос матери. Укоризненный голос.

– Одного зовут Кант Георгиевич, другого – Иван Карлович, третьего – Семен Семенович! (Иван Карлович, как выяснилось позже, был ее тогдашний – до Евграфова – любовник.) Ну скажите, что может быть смешнее этих сочетаний – Кант Георгиевич, Семен Семенович?!

– Ничего не вижу смешного, – вмешалась мать.

– А фамилия, фамилия ваша как? – смеялась Жан-Жанна.

– Ну, Евграфов.

И это еще больше рассмешило ее:

– Господи, Евграфов! Муж у меня – Нуйкин, а вы – Евграфов. Семен Семенович Нуйкин и Кант Георгиевич Евграфов! Восхитительно! Откуда вы только беретесь такие? В каких берлогах рождаетесь? Из каких дыр вылезаете?

Отец Евграфова – Георгий Иванович – был профессиональным философом, и нет ничего удивительного, что своего сына-первенца он назвал Кантом (нужно вспомнить те годы, всеобщий энтузиазм, мечту о мировой революции, повальное увлечение вечными вопросами бытия). Тогда это сочетание – Кант Евграфов – воспринималось не только красивым, но и значимым, осмысленным, передовым. Впрочем, и нынче в кругу художников, музыкантов, людей кино, в кругу женщин, обожающих искусство, имя и фамилия Евграфова – Кант Евграфов – принимались с уважением, с пониманием: был тут свой шарм, чувствовалась художественная изюминка. Многие, честно говоря, думали, что это не настоящие имя и фамилия Евграфова, а его псевдоним.

...Однако, несмотря ни на что, из квартиры в Бабушкине Евграфов с Жан-Жанной уезжали вместе. Ну, еще бы – у Евграфова машина, «Жигули», и почему бы не подвезти красивую молодую женщину? А куда подвезти? А хоть куда, ответила Жан-Жанна и рассмеялась. «Не понял», – подумал Евграфов. В машине она еще несколько раз принималась хохотать (Евграфов понимал – вспоминала его фамилию и имя, но, удивительное дело, теперь не злился, не обижался), блестели ее белые зубы, блестели глаза, обворожительно она была, ничего не скажешь...

– Вы что, свободны сейчас? – спросил Евграфов.

– Сама не знаю, – беспечно бросила она.

«Не понял», – подумал Евграфов, но уже с какой-то радостью подумал.

– Может, заедем к одному знакомому художнику? О, по делу, по делу, – поспешил добавить он, потому что Жан-Жанна посмотрела на него... с насмешкой? с презрением? с беспощадным пониманием? Одним словом, посмотрела так, что он забормотал: – О, по делу, по делу...

– Все ваши дела ведут к одному... Поехали!

Знакомый художник, Володя Хмуруженков, жил как раз в одном из домиков в поселке своих братьев, неподалеку от «Сокола». Евграфов сам открыл деревянные ворота; с шелестящим шумом машина въехала во двор – шуршала под шинами пожухлая трава. Дымилась осень; горели клены. Выйдя из машины, Жан-Жанна почувствовала себя не совсем привычно: в городе шум, гам, столпотворение, а тут – райская тишина, покой, листья падают с кленов. Странное местечко в Москве.

Художник работал. Молодой, русский, с длинными чистыми волосами, с русой, будто пенящейся, бородой, со светлыми глазами, которые, правда, смотрели так, будто не видели вас: во всяком случае, никакого доброго расположения или радости они не выражали при вашем появлении. Художник даже не кивнул в ответ на их приветствие.

– Как дела? – спросил Евграфов.

– Работаю, – просто, без всякой интонации ответил художник.

Евграфов подошел к художнику со спины, взглянул на холст через плечо:

– Дега?

Художник, не оборачиваясь, кивнул.

– Жан-Жанна, это Дега. «Голубые танцовщицы», – повернулся Евграфов к Жан-Жанне.

– Не знаю таких.

Художник усмехнулся: его всегда забавлял выбор Евграфова.

– У вас есть выпить? – строго, как бы с вызовом спросила Жан-Жанна у художника.

Комната (мастерская), в которой они находились, была сплошь заставлена и завешана картинами. Было много цвета, обнаженных женщин, пленэра.

– Я не пью, – ответил художник, продолжая как ни в чем не бывало работать. – И вам не советую.

– Кстати, познакомьтесь, – сказал Евграфов. – Это – Жан-Жанна, а это – Владимир Хмурженков. Великий художник.

Художник в который раз усмехнулся.

– Ну, в будущем, в будущем... – поспешил Евграфов. – Всех великих признают только после смерти.

– Не лги, Евграфов, – сказал художник.

– А вы могли бы нарисовать меня? – спросила Жан-Жанна. Она развалилась в мягком, глубоком старинном кресле. Она была молода, хороша собой, она знала это.

– Зачем? – спросил художник.

– Что зачем? – не поняла Жан-Жанна.

– Зачем вас рисовать? – Художник обернулся, посмотрел на нее долгим, пристальным, оценивающим взглядом.

– Неужели я хуже их? – Она кивнула на картины. На женщин, которых такое множество было вокруг. Кивнула и улыбнулась художнику.

– Вы не из тех, кого рисуют. – Художник вновь повернулся к холсту. – Если не ошибаюсь, вы женщина пустая. Как прикажете изобразить вас на холсте?

Жан-Жанна рассмеялась. Рассмеялась весело, искренне, как будто услышала отменный комплимент.

– Наверняка вы неудачник, – сказала она. – Точно, неудачник. Первый раз видит женщину и – обижает ее. Талантливые люди великодушны.

– Да? – удивился художник. Он и в самом деле удивился: оказывается, она не так глупа, как показалось вначале.

– Между прочим, я заехал по делу, – вклинился в разговор Евграфов. – Закончились картины.

– Вон, в углу, – кивнул художник. – Давно ждут...

В углу действительно стояли картины, завернутые в белую плотную ткань, перетянутые бечевкой.

– Ну, мы поехали? – сказал Евграфов.

– Давайте.

И на этом все, ни слова на прощание; Евграфов с Жан-Жанной вышли из дома.

– Он всегда такой? – спросила Жан-Жанна, когда они выехали на Ленинградский проспект. Жан-Жанна курила сигарету, в салоне струился оркестр Поля Мориа.

– Володя и правда талантливый художник. Но он вынужден зарабатывать на жизнь. И он злится, потому что на это уходит много времени.

– А ты? – Жан-Жанна впервые назвала его на «ты», и сердце у него залилось волнением: сколько ни живи, хоть до глубокой старости, сердце у мужчины остается молодым.

– Что – я? Я посредник. В воздухе мода на импрессионизм – видно, по контрасту со всеобщим прагматизмом, все хотят иметь хотя бы копии Ренуара, Сислея, Дега, Мане, и мы их поставляем.

– И когда-нибудь вас, конечно, посадят за это, – спокойно, в тон Евграфову произнесла Жан-Жанна.

Евграфов покосился через зеркальце на Жан-Жанну, снисходительно улыбнулся:

– За что? Володя – член Союза художников, я – научный сотрудник Всесоюзного художественного фонда. Ничего противозаконного.

– Живете, значит, на зарплату? – усмехнулась Жан-Жанна и стряхнула пепел на пол.

– У творческих работников, дорогая, зарплаты не бывает. Они живут на гонорары. Кстати, ограничений на гонорары не бывает.

- Хорошо устроились.
- Никому не запрещается. Бери кисть, краски, мольберт – рисуй. Небось сразу запоешь: есть хочу, пить хочу... А тебе вместо этого – шиш с маслом!
- Что-то не заметила ваших голодных глаз и подтянутых животов.
- Спасибо классикам, они нас выручают. Когда-то они голодали, теперь помогают нам. Потом и мы кого-нибудь выручим. Всему свое время...
- Ох, до чего мужики самоуверенный народ!
- Дело не в самоуверенности... Дело в вере. Заедем пообедать?
- Конечно, к тебе домой? И там, конечно, ты начнешь приставать? – Она смотрела на него с насмешкой.
- Зачем же? В ресторан «София», например. Сейчас как раз проезжать будем, площадь Маяковского...
- Ну, если в ресторан, – поехали.

Евграфов любил жизнь. И в такой форме тоже любил – когда на него плюют. Когда женщине нет никакого дела до него, до Евграфова, как до мужчины, а тем более – как до художественного дельца. Пусть. Ведь интересно, что вот ты для кого-то совершенное ничто, потом идет время, еще идет, и вдруг все разом меняется: женщине хорошо с тобой, женщина уже с трудом представляет, как это раньше не было тебя в ее жизни. Странно, правда, странно... А вся отгадка в том, что не нужно нажимать, давить, спешить. Не нужно подминать. Иногда нужно вместе пообедать в ресторане. Иногда – съездить куда-нибудь за город, например в Архангельское. Иногда – небрежно так вручить билет на Таганку, скажем – на Вознесенского. Иногда – что-нибудь подарить. Вот-вот, подарить. Мужчина нынче пошел прагматик: в постель – пожалуйста, а дарить, тратиться – увольте. А ты – даришь. Ты – Евграфов, ты добрый, улыбочивый, ты не обижаешься, даже если тебе плюют в лицо (ты еще возьмешь свое), тебе просто нравятся красивые люди, женщины, их слова, улыбки, жесты, мягкие волосы, большие глаза, плавные жгучие движения. Тебе нравится эта игра, потому что в любой игре есть победители и побежденные. Отчего же не побыть в роли победителя? В конце концов мужчина – всегда победитель, если он идет до конца. А кому не хочется лишний раз убедиться в том, что он – мужчина?

Мужа Жан-Жанна презирала. За что – о том рассказ ниже.

В Иване Карловиче, любовнике, она обожала эрос (именно так она выражалась), но не любила в нем хитрость, изворотливость, жадность.

И вдруг – Евграфов. Которому ничего не нужно. Добр. Улыбчив. Сговорчив. Что вам нужно от меня, Кант Георгиевич? О, ничего, Жан-Жанна, абсолютно ничего... Вот ведь врет, а все-таки приятно, когда человек говорит, что ничего ему не нужно от тебя. Наоборот – он только и занят тем, что делает подарки. Поверьте, это доставляет ему удовольствие. Один раз – джинсы. Джинсы – с ума сойти! Настоящие, американские, с заклепками, с «фирмой», с замками. В другой раз – позолоченные часы. В третий – югославские сапожки. В четвертый – японский халат и отличное, японское же, нижнее белье. В пятый...

В пятый раз они оказываются у Жан-Жанны дома. Сначала – за чашкой чая. Потом – в постели.

В метро, перед самым выходом из дверей, кто-то нечаянно толкнул Екатерину Марковну, сумка ее раскрылась, и апельсины, как бильярдные шары, веером покатались в разные стороны. Несколько человек бросились помогать Екатерине Марковне; она в благодарности кивала головой, подхватывала апельсины и, краснея, будто делала что-то постыдное, быстро складывала их в сумку. Неожиданно в одном из мужчин она узнала Нуйкина.

– Семен... Иванович? – удивилась она.

– Да, я, – кивнул он. – Только Семен Семенович. Добрый день, Екатерина Марковна.
– Вы? Откуда? Что вы здесь делаете? – Странные вопросы задавала она, как будто человек не имеет права оказаться там, где он оказался. Тем более в Москве, где дороги каждого неисповедимы.

– Я здесь живу. Неподалеку, – ответил он, и они вместе вышли наконец из метро.

– Странно, – сказала она. – Насколько мне помнится, вы жили от «Сокола» Бог знает на каком расстоянии...

– Все меняется, Екатерина Марковна, – ответил Нуйкин. – В том числе и место жительства.

– Ах, да, да... – догадливо произнесла она, вспомнив, что Нуйкин ведь собирался разводиться с женой.

Сколько прошло времени со дня их последней встречи? Верней, с того дня, когда Екатерина Марковна выставила Нуйкина за дверь? Тогда была осень, сырость, промозглый вечер, теперь – апрель, сухо в Москве, набухают почки тополей, скоро майские праздники... Полгода? Пожалуй, даже больше.

– Разрешите, – Нуйкин подхватил сумку Екатерины Марковны.

– Но мне вот сюда. Налево, – показала она.

– Ничего. Мне почти туда же, провожу вас, – сказал он.

Некоторое время шли молча. Странное дело, оба чувствовали, что за последние месяцы они изменились. Или это только казалось?

– Ну как вы, развелись с вашей женой? – спросила она.

– Да, развелся, – кивнул он.

– У вас есть дети?

– Дочка.

– Теперь платите алименты?

– Да, – сказал он.

– Больше всех страдают от семейных неурядиц дети.

Нуйкин на это ничего не ответил, промолчал.

– Вот что я вспомнила, – Екатерина Марковна улыбнулась. – Нашли вы тогда себе «невесту»?

– Нет, не нашел. – Отвечать улыбкой на улыбку Нуйкину не хотелось. Он ответил строго, серьезно.

– Значит, никто не захотел комедию ломать?

– Никто.

– Вот видите... А вы, наверное, обиделись тогда на меня?

– Нет, не обиделся. Я испугался. Вы тогда так разозлились...

Екатерина Марковна рассмеялась.

– Странный вы человек, – смеялась она. – И часто вам приходят в голову такие сумасбродные идеи?

– Если идеи помогают меньше страдать – разве это сумасбродные идеи?

– Да? – удивилась она.

– Да, – ответил он.

Он сказал «да» и подумал: странно, что она смеется. Полгода назад ее, такую воинственную, суровую, неприступную, нельзя было и представить смеющейся.

– Наверное, у вас случилось что-то хорошее? – спросил он.

– Хорошее? – она внимательно посмотрела на него, потому что вопрос этот удивил ее. – Как сказать... А в общем, да: приехала дочь с Байкала.

– Я и не знал, что у вас есть дочь. Поздравляю!

Они уже вышли на улицу Алабяна, теперь пересекали ее, переходили на другую сторону неподалеку от моста.

– Она окончила десять классов и уехала на БАМ. Она ненавидела нас. Нас – то есть родителей. В знак протеста не стала никуда поступать и уехала.

– Ненавидела... За что? – задумчиво спросил Нуйкин.

– Как будто не было за что ненавидеть, например, Евграфова, – ответила Екатерина Марковна. – Она все видела. Все понимала. А меня ненавидела, потому что я терпела. Смирялась с подлостями мужа.

– Понятно, – в прежней задумчивости проговорил Нуйкин.

– Ну, вот мы и пришли, – неожиданно бодро-приподнято сказала Екатерина Марковна. Они и в самом деле стояли около ее дома. – Спасибо вам, – и протянула руку. – Рада была повстречаться с вами.

Нуйкин стеснительно пожал ей руку в ответ.

– Где же вы живете? – спросила она.

– На Песчаной, – ответил Нуйкин.

– О, совсем близко. Даст Бог, увидимся еще. Всего доброго!

– До свидания, – сказал Нуйкин.

На этом они расстались.

У Евграфова были любопытные мысли насчет «вечного двигателя». Когда он их высказывал, например, людям техническим, инженерам, физикам, электронщикам, мало ли какие специалисты встречались ему на пути в его коммерческих вояжах, от него поначалу отмахивались: ну, глупости какие!.. А потом, подумав, каждый вдруг находил идею Евграфова не совсем сумасбродной. То есть, конечно, сумасбродной, дикой, но тем не менее в *принципе* любопытной, даже, может быть, существенно новой, а может, отчасти и гениальной. Только вот циничной, что ли... Или гениальность не бывает циничной?

Отец Евграфова, философ Георгий Евграфов, в бесконечных спорах с коллегами нередко касался и этого вопроса – «перпетуум мобиле». Сын слушал, думал, ломал голову и, став взрослым, не только нашел разгадку «вечного двигателя», но даже удивлялся, почему до него никому не приходило в голову это простейшее, и легкое, и на поверхности лежащее решение.

– Ты знаешь, что такое «перпетуум мобиле?» – спросил Евграфов у Жан-Жанны в первый же день их постельной любви.

– Думаешь, я совсем дурочка? – усмехнулась Жан-Жанна, развалившись как тигрица на белоснежных простынях.

– А все-таки?

– Ну, «вечный двигатель». Устраивает?

– Вечный двигатель – это любовь, – глубокомысленно произнес Евграфов.

– Ах-ха-ха! – рассмеялась Жан-Жанна. – Евграфов, ты не только живописный маклер, ты еще и философ! Поздравляю, поздравляю, Евграфов.

– Да ты вдумайся, в самом деле! – разволновался Евграфов. Он каждый раз волновался всерьез и искренне, когда приходилось объяснять свою теорию новому человеку, особенно женщине. – Покуда было, есть и будет человечество, была, есть и будет любовь. Любовь вечна, это аксиома. А какова любовь в физическом смысле? Она – двигательна. Представь себе наш земной шар. Он постоянно вращается. И каждую секунду, каждую минуту, каждый час где-то на земле ночь, а ночь – это любовь, а любовь – это движение. То есть движение любви не прекращается на земле никогда. Теперь вопрос: использует ли человек это движение? Не в сущности своей, не в конечном результате – то есть не в воспроизведении потомства, а в смысле использования любви как физического движения? Если бы человечество обязало каждого из нас после свадьбы, например, прикреплять к ноге специальный аппарат, который пре-

образует физическое движение в энергию, скажем, электрическую, то, представь себе, какие запасы энергии получало бы человечество в каждую секунду своего существования! Появился бы вечный, никогда не прерываемый и никогда не истощаемый «перпетуум мобиле». Понимаешь ли ты, любовь – это и есть вечный двигатель?! Понимаешь, нет?!

Жан-Жанна искренне смеялась. Повалив Евграфова, щекотала его: Кантик ты мой, Евграфов ты мой глупый, дурной, ох, и дурной... Запомните: Кант Евграфов – изобретатель вечного двигателя!..

Увиделись они гораздо быстрее, чем, наверное, могла предположить Екатерина Марковна. Через два дня. На Ленинградском проспекте, неподалеку от 57-го отделения почтамта, Екатерина Марковна зашла в булочную – редко сюда заходила, не совсем по пути, а тут зашла. Взяла половинку черного и батон. Подошла к кассе. И когда подняла глаза от полиэтиленового пакета, в который сложила хлеб, – обомлела. За кассой сидел Нуйкин.

– Добрый день, Екатерина Марковна, – улыбнулся он.

– Здравствуйте, – пролепетала она и почувствовала, как жгучий, сильнейший стыд залил ей лицо. И не только лицо, но и шею. И даже руки. К тому же руки, почувствовала она, стали мелко дрожать.

– С вас двадцать одна копейка, Екатерина Марковна. – Он продолжал, кажется, улыбаться, но она плохо видела, неожиданно все стало для нее как в тумане.

– Да, да, сейчас... – Дрожащими руками она достала из кошелька «двадцатник» и копейку, причем копейка выскользнула из пальцев, пока Екатерина Марковна нагибалась, искала ее на полу, в очереди раздались недовольные голоса.

– Тихо, тихо, товарищи, – успокаивал их Нуйкин, и, кажется, еще больший стыд, чем прежде, вновь залил лицо Екатерины Марковны, когда она наконец нашла копейку и подала деньги Нуйкину.

Подала и тут же пулей выскочила из магазина, ничего не сказав Нуйкину в ответ, хотя он как будто о чем-то спросил ее. Впрочем, нет, он, кажется, просто сказал: «Всего доброго, Екатерина Марковна, заходите еще». Она выскочила из булочной и, красная, возбужденная, слепо наталкиваясь на прохожих, помчалась по проспекту. И вдруг встала. Остановилась как вкопанная. (Прохожие с удивлением посматривали на нее.) Вспомнив себя, свой стыд, горящие щеки и как отводила глаза, когда Нуйкин приветливо здоровался с ней, и как мелко, подло дрожали руки, когда возилась с кошельком, вспомнив все это, она вдруг пронзилась чувством гадливости к самой себе. Как же так? Что с ней случилось? Оказывается, ей было стыдно! Стыдно, что Нуйкин – ее знакомый, что он, мужчина, сидит за кассой, в хлебном магазине; показался стыдным сам этот факт. Как же так?! Что с ней случилось?! Неужели она *такая*? И теперь другой, новый стыд, не тот прежний, жалкий, трусливый, а стыд настоящий, из глубины души, стыд человеческий опалил ее всю с ног до головы так, что по телу побежали мурашки. И ведь он понял, наверное? Конечно, понял! Он же не дурак... Он все понял, Господи! И это она, которая всегда и всюду, в каждом человеке стремилась прежде всего разглядеть душу... Она, которая кричала когда-то Евграфову в лицо: «Мерзавцы, подлецы, из-за вас нечем дышать простому человеку, вы все осквернили своими хапужными руками, у вас все продается и покупается, и нет ничего для вас святого!» (На все эти слова Евграфов спокойно-блаженно улыбался.) Она ненавидела Евграфова, его знакомых, его философию, всю его жизнь, тайную и явную, и в себе самой, в глубине, в спрятанной сути, хранила только одно, как талисман: святое уважение к простым людям, к труженикам, к тем, кто истинно работает, занимается делом, каким бы маленьким и неприметным оно ни казалось. И вот – устыдилась Нуйкина! Отчего? Оттого, наверное, что в мыслях своих она кем только не представляла Нуйкина, но только не продавцом, не кассиром в хлебном магазине! Инерция шаблонного восприятия людей сыграла с ней злую шутку. Она *заранее, давно* оттринула от себя Нуйкина, представляя его, по подобию

со своим мужем, каким-нибудь верным подлецом и негодяем. Ведь, положила руку на сердце, она ни разу не поинтересовалась, чем занимается Нуйкин, хотя разговаривала с ним не однажды. Почему? А когда увидела, осознала, что он самый наипростейший человек (уж куда проще – кассир в хлебном магазине), – сразу и устыдилась его. Узнай она, что он, к примеру, директор ювелирного магазина, или кандидат технических наук, или хоть стоматолог, – наверняка не устыдилась бы, хотя про себя могла с радостью отметить: а-а, ясно, и этот мошенник, бездельник, паразит или кто там еще... В том-то вся и штука в жизни: подлецов не уважаем, ненавидим, негодуем против них в глубине души, но – не стыдимся знакомства с ними! А простого человека – любим, уважаем, восхищаемся им, а чуть до дела, чуть до того – *что* о нас подумают окружающие, *как* мы выгядим в глазах толпы, – сразу и устыдишься знакомства с маляром, вахтером, бедно одетой старухой или вот мужчиной – кассиром в хлебном магазине.

Екатерина Марковна резко развернулась и, как прежде, слепо наталкиваясь на прохожих, заспешила в обратную сторону. Вошла в магазин. Нуйкин все так же сидел за кассой, спокойно, приветливо, чуть ли даже не с радостью, как казалось, обслуживая покупателей.

– Семен Семенович! – Она решительно подошла к кассе – не со стороны очереди, а чуть сбоку, прямо от входной двери. – Семен Семенович, – повторила она несколько глуше (в очереди начали поглядывать на них), однако самым мучительным оказалось то, что Екатерина Марковна сама не знала, что хотела бы сейчас сказать.

– А, Екатерина Марковна! Забыли что-нибудь? – радостно, как совсем недавно, улыбнулся Нуйкин.

– Семен Семенович! Завтра у моей внучки день рождения. Приходите, пожалуйста! – Екатерина Марковна не ведала, откуда всплыла в ней эта идея, верней – как она вспомнила о дне рождения внучки, хотя это было истинной правдой. Слова высказались сами собой, как если бы их вынесло наружу какое-то течение.

– У вас есть внучка? – удивился Нуйкин. – Поздравляю! Сколько же ей?

– Завтра год, – ответила Екатерина Марковна (ее все еще продолжали смущать взгляды – *этакие* взгляды – из очереди). – Приходите, – повторила она и вот – улыбнулась. Робко, смущенно, но улыбнулась.

– Приду, – пообещал Нуйкин. – К которому часу?

– Ну, часам так к семи...

– Товарищи, ну сколько можно болтать в магазине? Работать надо, а не лясы точить! – заволновались в очереди.

– Спокойно, спокойно, товарищи, – проговорил Нуйкин, приподняв руку.

– До свиданья, – сказала Екатерина Марковна. – Так мы вас ждем. – И вышла из булочной.

На другой день точно в семь часов вечера Нуйкин позвонил в квартиру Екатерины Марковны. Дверь открыла хозяйка.

– Семен Семенович? Проходите, здравствуйте!

– Вот, примите, – Нуйкин протянул букет мимоз. – Поздравляю от всей души!

– Спасибо, – Екатерина Марковна несколько смутилась. Она тем более смутилась, что из коридора вышла молодая девушка и настороженно, цепко окинула Нуйкина взглядом. – Возьми, это тебе. – Екатерина Марковна протянула цветы девушке. – Семен Семенович нас поздравляет.

– Здравствуйтесь, – проговорил Нуйкин в явной робости.

– Здравствуйтесь, – ответила девушка довольно холодно.

– Познакомьтесь, – быстро заговорила Екатерина Марковна. – Это Тося, моя дочь. А это – Семен Семенович...

– Нуйкин, – добавил тот и даже как бы поклонился, что ли.

– Очень приятно, – сказала Тося, но настороженности своей к гостю не изменила.

– Ну, что же вы, раздевайтесь, – заторопила Екатерина Марковна Нуйкина. – Плащ вот сюда, шляпу сюда...

Прежде чем сесть за стол, Екатерина Марковна повела Нуйкина в спальную комнату. В детской кроватке, под красивым кружевным одеялом (в кружевах, конечно, был пододеяльник) спала девочка: нос кнопкой – не в бабушку, губы пухлые – тоже не в нее, а вот цвет лица – темный, скорее, даже смуглый – точно шел от Екатерины Марковны.

– Нравится? – спросила она.

– Да. Хорошая девочка.

В дверях, в проеме, появилась Тося. Роста она была небольшого, худенькая, совсем девочка, только глаза – крупные, внимательные и, кажется, немало пережившие, узнавшие, что почем бывает на свете; так вот – внешне она как-то мало походила на женщину-мать, скорее, напоминала обиженную десятиклассницу или, в крайнем случае, первокурсницу института: так еще она была хрупка, юна, беззащитна.

– Мама, ну ведь разбудите... – с укоризной, еле слышно прошептала она.

– Мы тихо, тихо. – И Екатерина Марковна увлекла за собой Семена Семеновича. – Мы только немного, посмотреть...

Сели пить чай; спиртного не было никакого, и Нуйкин мысленно поблагодарил Бога, который отвел его от мысли купить шампанское. Конфеты – да, а на шампанское Нуйкин махнул рукой, вспомнив, как Екатерина Марковна спросила его когда-то: «Вы, наверное, выпить хотите?» – «Да, не отказался бы», – признался тогда Нуйкин. – «Вот этого как раз и не будет. Обойдетесь!» – «Да?» – удивился Нуйкин неожиданности ее логики. «А вы как думали? Пьянствовать будете у меня? Достаточно того, что притащились без всякого приглашения...» И вот теперь он пришел по приглашению, но спиртного, слава Богу, с собой не захватил. И, как убедился, был прав – алкоголь тут не признавали.

Сели пить чай; торт, конфеты, вишневое варенье; разговор не клеился, Нуйкин терялся под настороженным, будто пронзающим взглядом Тоси. Наверняка она не одобряла решения матери пригласить в гости Нуйкина. Кто этот Нуйкин? Тося так и не добила от матери разумительного ответа.

Выручила всех Юля – видно, проснулась и, никого не увидев, испугалась, расплакалась. Тося бросилась в спальню.

– Я, наверное, стесняю вас, – сказал Нуйкин Екатерине Марковне.

– Ну что вы, – ответила она, – дело совсем не в этом. Просто Тося обижается...

– На вас? Из-за меня?

– Семен Семенович, ведь вы пришли на день рождения? А торт даже не попробовали...

– Да, да, конечно. – Нуйкин поспешно откусил кусочек. – О, вкусно...

Екатерина Марковна улыбнулась, но как-то печально, понимающе, что ли.

– Все дело в том, что, когда умер мой муж, я ничего не сообщила Тосе.

– Как же так? – Изумление Нуйкина было неподдельным.

– Ну, а что я должна была сообщить ей? Умер в постели любовницы? (Простите, конечно...) Приезжай? Да и каково ей было бы тут, приедь она сюда, во время этого гнусного похоронного позора.

– Но ведь отец все-таки.

– Отец... В том-то и дело. Я позже написала, конечно, объяснила... Она отца не любила, отчасти потому и уехала, из-за наших с ним отношений... Но – смерть есть смерть. Я понимаю Тосю: она в растерянности, никак не может выработать в себе верного отношения к случившемуся...

– А вот и мы! – В дверях кухни, улыбающаяся, появилась Тося, держа за руку дочь.

Юля стояла на ногах твердо, смотрела вокруг осмысленно и в то же время вопросительно: кто этот чужой дядя?

– Ну, иди к нам, – поманила ее бабушка. – Оп-ля!

Юля еще некоторое время стояла в нерешительности, словно думая: стоит идти или нет, раз около бабушки какой-то незнакомый, – но вот смело шагнула вперед и быстро потопала к бабушке, с радостным визгом ткнувшись, наконец, в ее колени.

– Ух ты, моя хорошая! – Екатерина Марковна подхватила ее на руки, затормошила, затискала так, что Юля время от времени вскрикивала и заливалась тонким смехом.

И вдруг по колготкам ее заветвилась тонкая струйка...

– Ах ты, проказница! Ну-ка, пойдем менять штанишки... И не стыдно тебе, не совестно? При гостях? В день рождения? – Екатерина Марковна, шутливо-укоризненно покачивая головой, вынесла Юлю из кухни.

Нуйкин с Тосей остались одни. Семену Семеновичу было совсем неловко: молчать стыдно, а говорить – так и вовсе не знал о чем.

– Простите, конечно, – произнесла Тося, – вы, наверное, хорошо знали папу?

Нуйкин вздрогнул от этого вопроса.

– Не совсем... То есть, если откровенно, знал мало. Вообще не знал...

– Да-а? – удивленно протянула Тося. – Странно... Тогда, значит, вы мамин знакомый?

– Выходит, да. Совершенно верно. Екатерины Марковны.

– Понятно-о... – многозначительно произнесла Тося. И не только с удивлением, но и как бы с некоторой настороженностью оглядела Нуйкина с ног до головы. – И давно вы познакомились?

– Нет. Если честно, совсем недавно. С полгода назад...

– Понятно-о... – вновь многозначительно протянула Тося. – Но вы хоть знаете, что у нас случилось в семье? Что умер папа?

– Да, да, конечно. – Нуйкин не мог смотреть на Тосю, опустил глаза.

– Семен Семенович, у меня к вам просьба... Но только дайте слово, что ничего не расскажете маме?

– Ну, это само собой. Не беспокойтесь.

– Папа у нас был замечательный человек. (Нуйкин так и обмер от этих слов.) Замечательный. И мама глубоко переживает его смерть. Прошу вас, Семен Семенович, никогда не говорите с мамой на эту тему. Для нее это – незаживающая рана. Боль. Не нужно травмировать ее. Прошу вас!

– Ну что вы, Тося, что вы! Обещаю вам! Да мы и так никогда не говорим об этом. Зачем?..

– О, я смотрю, у вас тут оживленный разговор... Познакомились поближе? Ну и молодцы! – Екатерина Марковна, улыбаясь, ввела внучку за руку на кухню. – Ты бы вот о тайге Семену Семеновичу рассказала... Вы не представляете себе, Семен Семенович, как это, оказывается, интересно... и страшно. Правда, Тося?

– Бывает. Поначалу, – ответила Тося.

И тут спасительно зазвонил телефон. Тося вышла в коридор. И, вернувшись буквально через минуту, сказала Екатерине Марковне виноватым, просительным голосом:

– Мам, если я уйду ненадолго... Ты ничего?

– Ну, о чем разговор.

– Там у нас одноклассники собрались. Ведь не виделись сколько...

– Да иди, иди, господи! Нашла, о чем переживать! Иди! – Екатерина Марковна улыбнулась. – Справимся мы тут с проказницей Юлькой. Верно, Юлька? – Она потормошила внучку.

– Ну, я тогда побежала... Всего доброго, Семен Семенович!

– До свидания, – ответил Нуйкин. Он очень не хотел показывать Екатерине Марковне, что у них с Тосей состоялся какой-то тайный разговор. Интонация его голоса была самой нейтральной, обычная вежливость при прощании, не больше.

Остались одни. Екатерина Марковна усадила внучку за детский стол, положила ей пирожное на тарелку, налила в кружку-непроливашку теплого чая.

– Сколько Тосе лет? – спросил Нуйкин.

– В августе будет девятнадцать. А что?

– Совсем девчонка. А глаза – серьезные. Печальные даже.

– Помыкалась там. Говорю: оставайся дома. Не хочет. Поеду обратно – и все.

– А Юля?

– В том-то и дело. Умоляю оставить ее здесь. Пока не решили.

– А где она там живет?

– В зимовье.

– Это что такое? – Слово «зимовье» Нуйкин слышал не раз, но положив руку на сердце не знал, что оно из себя представляет.

– Ну, это избушка, что ли, такая. В тайге. В глухом лесу. Летние бывают избушки, зимние. Всякие. Живут они там все вместе, бригадами.

– Зимой холодно?

– Бывает, что очень. Но от Тоси мало чего добьешься. Все больше отмалчивается.

– Характер?

– Нелюдимой стала. Совсем не та, что уезжала. Прямо узнать не могу.

– Ба-ба, ма-ма, – лепетала за своим столом Юля. Сидела довольная, вся перемазалась в креме, что, видно, особенно нравилось ей. Бабушка не обращала внимания, не ругала.

– А что же она одна приехала? Без мужа? – спросил Нуйкин.

– Какой муж? – усмехнулась Екатерина Марковна. – Нет у нее никакого мужа.

– Нет мужа? – удивился Нуйкин. – Где же он?

– Да его и не было.

– Как это?

– Ну, Семен Семенович, вы что, первый день на белом свете живете? Дети и без мужей могут рождаться...

Нуйкин смотрел на Екатерину Марковну расширенными глазами. Не верил.

– И вы так хладнокровно говорите об этом?

– А что я должна делать? Мы с Тосей квиты.

– То есть? – не понял Нуйкин.

– Я скрыла, что умер Евграфов, она – что родилась Юля. Вот такие мы мать с дочерью!

– Да! – вырвалось у Нуйкина. – В каждом человеке что-нибудь обязательно неожиданное, непредсказуемое...

– Не говорите, Семен Семенович. – Екатерина Марковна непроизвольно взглянула на часы-кукушку, висевшие на стене.

– О, я уже засиделся, – по-своему воспринял этот взгляд Нуйкин. – Мне пора, пора...

– Да что вы, сидите. Это я к тому: надо бы с Юлей на улицу выйти. Погулять перед сном.

– Вот и хорошо. Вы как раз погуляете, а потом я потихоньку пойду к себе.

– Вы, кажется, говорили, что на Песчаной живете?

– Да, там.

– Ну, это совсем близко. Очень хорошо.

Екатерина Марковна умыла внучку, надела на нее теплые штаны, свитер, пальто, шапку с помпоном, меховые сапожки. В лифте Юля испуганно жалась к бабушке – не привыкла еще к московской чудо-юдо-технике.

Семен Семенович улыбнулся.

Выходя из подъезда, столкнулись с известной грозой округа Марком Захаровичем – он был, будто никогда не раздевался, все в том же долгополом, на манер шинели, пальто, с теми же тускло-золотыми пуговицами железнодорожника, и взгляд его оставался по-прежнему неусыпно бдительным, настороженным.

– Доброго вечера, уважаемая Екатерина Марковна! Доброго здоровьица! – Он приподнял руку как бы к козырьку, как бы отдавая честь, хотя на голове у него не было никакой фуражки, а так, потертая, заваливающаяся шапчонка.

– Здравствуйте, – ответила Екатерина Марковна. – Семен Семенович, помогите, пожалуйста!

Но Семен Семенович и без просьбы уже помогал ей – в четыре руки вынесли из подъезда коляску, в которой торжественно восседала именинница Юлька.

– Ух ты, пузырь какая! – пошевелил перед ней пальцами Марк Захарович. – А мамка убежала уже, убежала, а как же, видели, приметили, им, молодайкам, все нейметя, все не терпится по гулянкам, по волосатикам...

– Простите, Марк Захарович, нам некогда, – проговорила Екатерина Марковна.

– Доброго здоровьица и вам! – как бы поклонился, что ли, Марк Захарович Нуйкину. – Значит, не забрали вас тогда в милицию? Поздравляю от души! Вот у нас так: пьяницу никогда не заберут, а честного человека – обсмеют да еще и плюнуть на него нороят. Это ничего. Это можно. А почему? А потому, что на посту...

Нуйкин покраснел. Хорошо, был вечер и никто, кажется, ничего не заметил.

Наконец отъехали с коляской от Марка Захаровича на безопасное расстояние. А он все стоял, смотрел вслед, покачивал головой то ли в восхищенном удивлении, то ли в осуждающем недоумении: «Смотри-ка, опять тот, который тогда... Ну, бабы! Ну, народ! Ну, шельмы!...»

Сначала молчали; не проходил неприятный осадок после встречи с Марком Захаровичем; одна Юлька безмятежно лопотала что-то в коляске.

– Простите, никогда не интересовался: вы кем работаете, Екатерина Марковна? – спросил Нуйкин.

– Библиотекарем.

– Понятно, – словно ставя точку над чем-то, что давно его мучило, проговорил Нуйкин.

Гуляли они по тем самым живописным улочкам, где расположились домики художников. Проходя мимо дома Хмуруженкова, которого, естественно, Екатерина Марковна хорошо знала, она поздоровалась с художником, увидев его во дворе; удивительней всего было то, что Хмуруженков отдельно поздоровался и с Нуйкиным.

– Вы знакомы? – удивилась Екатерина Марковна.

– Немного, – уклончиво ответил Нуйкин. – Клиент в булочной.

– Талантливый художник. Впрочем, испорчен... Такие, как мой муж, кого угодно развратят и испортят. Даже святого.

– А в какой библиотеке вы работаете? – прервал ее Нуйкин.

– В «Некрасовке». Хотите заглянуть?

– Нет, что вы... Это я так. Мне просто хотелось представить, где вы работаете, кем. Так легче.

– Что легче?

– Человека понять легче. Простите, конечно, Екатерина Марковна, не хочу вас обидеть... но я ведь понял, почему вы пригласили меня сегодня...

– А что тут такого? – бодро-приподнято произнесла Екатерина Марковна. – Взяла и пригласила вас на день рождения вот этой шалуни... – Она потормошила в коляске Юльку. – Так, проказница?

– Ба-ба, ба-ба, – лепетала в ответ внучка.

– Знаете, мне очень хочется сказать, что вы хорошая, – просто и прямо признался Нуйкин.

– Ой, ну что вы такое говорите! – смущенно воскликнула Екатерина Марковна.

– Я ведь видел, как вы растерялись тогда... Вы готовы были провалиться сквозь землю. Вам стало стыдно, что мужчина за кассой в булочной – ваш знакомый. Вы вылетели из магазина как обожженная. И я подумал: ну вот, еще с одним человеком ясно, чего он стоит. Я люблю узнавать правду о человеке, даже если разочаровываешься, даже если это приносит боль.

Екатерина Марковна, как совсем недавно сам Нуйкин, густо покраснела; одна надежда была – на вечер, на то, что в темноте стыд незаметен.

– Я, – говорила она, – дело в том, что я...

– А потом вы вернулись, – продолжал Нуйкин. – И я все понял. Я понял, что вы хороший, добрый человек. В вас есть главное – совесть. Спасибо вам, Екатерина Марковна.

– Ну что вы...

– И за этот вечер спасибо. Желаю вам, и дочке вашей, и внучке – счастья! А теперь я пойду... мне вот сюда... До свиданья! – И, не мешкая ни секунды, Нуйкин свернул в проулок и растворился в темноте.

– До свиданья... – прошептала растревоженная, удивленная Екатерина Марковна.

Лет десять назад, когда отношения Евграфова с женой еще были далеки от того, чем они стали впоследствии, у них состоялся один памятный разговор (Тося в это время была в школе), после которого правда каждого обнажилась четче и жить друг с другом стало трудней.

– Совесть у тебя есть? – спросила тогда Екатерина Марковна. (Какая жена у какого мужа не спрашивала об этом?!)

Евграфов решил отшутиться:

– Ну вот, как только какое-нибудь серьезное дело, начинаются упреки, подозрения... (Он и в самом деле – под видом обычной деловой встречи – собрался к очередной любовнице.)

– Как можно жить и лгать беспрестанно, безостановочно, будто это какая-то поэзия, правда, суть жизни?

Что-то в этих словах поразило Евграфова, он приостановился в прихожей, посмотрел на жену внимательно.

– А знаешь, ты это здорово сказала: что ложь – поэзия жизни. Поздравляю! Не всякий мужчина додумается до этого.

– Ну, еще бы! Ложь – поэзия жизни! Удобная философия для оправдания мерзостей, гадостей...

– А ты что хотела, – вдруг зло, с искаженным лицом зашипел Евграфов, – чтобы я ползал как червь по земле и исповедовал вашу философию? Будь добр, будь честен, будь вьючным ослом, пусть сидят у тебя на шее, пусть пинают под зад, скребись всю жизнь в одну щель, может, допустят в рай перед смертью, помрешь как агнец? Для кого тогда красота? радость? деньги? женщины? любовь? Или ты предлагаешь мне, как сделала это сама, превратиться в книжного червя, шелестеть страницами и упиваться созерцанием того, как жили другие люди – достойные, честные, правдивые, умные, талантливые? Так знай же: именно бездарные люди живут правильно, соблюдают мораль, гордятся нравственностью, кичатся потомством, при этом размножаются как жуки навозные: слепо, тупо, бездарно! Ты возьми любого, кто так или иначе выбился в люди, сделал себе имя, оставил след в искусстве. Кто это? Это люди, поправшие усредненную мораль, поправшие философствующее заблуждение: ах, не делай зла, ах, возлюби ближнего, ах, сиди около женской юбки! Вспомни Сезанна, Гогена, Ренуара, Ван-Гога – разве это были добропорядочные люди с точки зрения общечеловеческой, усредненной, лицемерной морали? Гоген плюнул на семью, на пятерых детей, на хапугу-жену, уехал на Таити, стал жить с Майоркой, с дикаркой. И кто теперь осуждает его? Кто помнит теперь об этом? Теперь знают одно: Гоген – гений!

– Гоген – художник, – спокойно произнесла жена Евграфова. – А ты кто?

– А я – мужчина! – взорвался Евграфов. – Любой мужчина творец по своей сути. Творить – значит отвергать то, что признает большинство. Ты хочешь, чтобы я, как шавка, просидел у твоих ног, чтобы в конце концов меня благосклонно потрепали по облысевшей голове: ах, молодец, ах, пуделек, какой смиренный, какой послушный, всю жизнь просидел на задних лапках и ни разу не твякнул! Плевать я хотел на вашу философию! Плевать, ясно это?

– Ясно, – все так же спокойно проговорила Екатерина Марковна. Она потому была спокойна, что вдруг многое поняла в муже. Она думала: он гуляет, потому что просто гуляет, как все – как мужчина, как кот, а тут, оказывается, совсем другое, у него философия, убеждения, взгляды...

– Ах, дети, ну что вы так расшумелись? – В прихожую вышла Антонина Степановна (Тонечка). Вышла смущенная, улыбающаяся, седенькая, хрупкая, так и заносило ее из стороны в сторону на слабых ногах. Примечательной была еще одна черта: она носила всегда большущие тапочки, которые еле-еле держались на ногах, и эти тапочки шаркали, волочились, стучали об пол... Задолго до появления хозяйки тапочки обычно предупреждали: приближается Тонечка... А тут они и этого не услышали.

– Да нет, нет, ничего, – начала успокаивать Тонечку Екатерина Марковна.

– Вот-вот, – проговорил Евграфов, глядя на обеих с горячей злостью. – Давайте, успокаивайте друг друга, лейте елей, ну а как же – такие обе добрые, хорошие, чистые...

– Кант, прекрати! – вырвалось у Екатерины Марковны.

– О чем это вы? – не понимала Тонечка. В ту пору ей было под семьдесят, иногда плохо слышала, отчего часто – невпопад – улыбалась, стараясь показать, что все слышит, понимает. Тогда она еще жила с ними, верней – жила в своей комнате, а они – в своих двух: квартира была коммунальная.

– Ладно, пошел, – сказал Евграфов и хлопнул дверью.

– Что он сказал? – спросила Тонечка у Екатерины Марковны.

– Он сказал: всего доброго, он пошел.

– А-а, ну-ну... Кстати, Катенька, у вас не найдется лишней коробки спичек?

После рабочей смены Егор обычно уходил в чащобу, к берегу Неруссы-реки. Угрюмый, с печальными глазами, в которых, пожалуй, было больше боли, чем печали, Егор, с его густой черной бородой, с лохматыми кустистыми бровями, с никогда не причесанными непослушными волосами, производил впечатление замкнутого, странного, а иногда и страшного человека. Страшного своей нелюдимостью, замкнутостью, угрюмостью взгляда. В бригаде его побаивались – не силы его побаивались, не характера, не огромных жилистых кулаков, а тяжелого неподъемного взгляда. Уж если он что сказал, да не сделают, то так посмотрит... Бригадирское место он занимал по праву, лучше других знал дело, был сильнее всех – и физически, и характером – вот только работать с ним было не всегда легко: тепла не хватало, сердечности, душевного уюта.

Каждый вечер он уходил к Неруссе-реке; уходил один. И всякий раз либо сидел на перекатах с удочкой в руке – одного за другим таскал золотисто-пепельных хариусов, либо плел «морды» из ивняка и ставил их на тайменя в глубинных местах, в омутках и ямах Неруссы-реки. Рыбу он отдавал, конечно, в общий котел, а вот рыбачить сообща, бригадой, не любил. Такая душа – рыбалку признавал только в тиши, в одиночестве. Или тут была еще какая-то причина?

От ближайшего поселка строителей зимовье пряталось километрах в двадцати, не меньше. Жили обособленно – каждый день, даже каждую неделю, в поселок не находишься. Когда Тосю спросили: «Что умеешь делать? Варить умеешь?» – она кивнула почти маши-

нально. «Ну вот, Егор, будет вам кашевар. Забирай девчонку», – и начальник отряда, будто отделавшись от какой-то надоевшей ему мысли, с силой пожал Егору руку.

Тот смерил Тосю тяжелым взглядом. Ничего не сказал, ни о чем не спросил.

Когда шли к зимовью, глухой лесной тропой, Егор иногда останавливался, поджидал Тосю. Она отставала, в досаде на себя хмурилась. И злилась на Егора. Чемоданчик ее он нес в руке, но шел так, будто не было с ним никакой Тоси. Вот только иногда останавливался, поджидал ее.

В дороге сели перекусить. Егор сосредоточенно жевал бутерброд, Тося боялась встретиться с ним взглядом – бородатый, угрюмый, непонятный человек. С ближней ели на них с любопытством поглядывал бурундук. Тося никогда не видела бурундуков, смотрела с опаской, думала: вдруг это какой-то страшный зверь? Егор, поняв ее, усмехнулся, и бурундук, распушив хвост, метнулся на соседнюю ель, пулей взлетев в вершинник.

– После школы приехала? – спросил Егор.

Как бы ей хотелось ответить: нет, давно окончила, чего только не повидала, куда только не ездила! Да как такое скажешь?

Она кивнула: после школы, да.

– Издалека? – спросил он.

– Из Москвы.

Он посмотрел на нее повнимательней.

– Поехала жизнь узнавать?

– А что, нельзя? – спросила она с вызовом.

Он не ответил. Дожеввал бутерброд. Подхватил чемодан и, не взглянув на нее, пошел тропой дальше.

В первую неделю она трижды испортила борщ. Трижды лесорубы уходили на просеку без первого. Колька Соловей откровенно спросил Егора:

– На хрена нам эта музыка?

Бригадир не ответил.

Через неделю, когда Соловей еще злей, чем прежде, повторил свой вопрос, Егор ответил:

– Небось ложку в первый раз тоже уронил.

– Чего-о?.. – не понял Колька.

– Мы только матку сосать сразу мастера. Остальное – через горб.

– Не понял. – Колька Соловей искренне ничего не понимал.

– Не понял – поймешь.

Тося все слышала в своем закутке. (Разговор шел в зимовье). Кусала губы. Легко было бросить все – мать, отца, Москву. Легко было уехать. А здесь тайга. Глушь. Ни одной родной души. Котел на двенадцать душ. И не борщ получается – пересоленная бурда какая-то. Как она жалела теперь, что не научилась у матери элементарному: готовить еду. Отца не любила. С матерью ругалась, спорила. А вот научиться щи варить – не хватило ума.

Если бы не Егор... Не будь его, вывели б ее из тайги в два счета. И куда потом?

...Через полгода она скажет ему: спасибо.

А он не поймет ее. Искренне не поймет. Пожмет плечами. Он давно все забыл. Да и трудно было помнить – она стала отменной поварихой. Как будто век такой была...

Каждый день Егор уходил на Неруссу-реку. За полгода, что она знала его, он не изменился. Все такой же угрюмый, неразговорчивый. На Тосю не смотрел. Один только раз, когда Колька Соловей попытался «познакомиться» с ней поближе (забрался к Тосе в закуток, она закричала), Егор сграбастал Кольку в охапку и вышвырнул из зимовья. Тосе сказал:

– Ты мне мужиков не порть.

– Да я же... он сам... – залепетала она.

Он взглянул на нее мрачней мрачного:

- Смотри! Рассыпется бригада – ты виновата будешь. Выгоню к чертовой матери!
- Да я... при чем тут я?..
- Я все сказал.

Этот их разговор все слышали в зимовье. И даже те, кто втайне примеривался к Тосе, с тех пор оставили думать о ней. Жили в работе. Работой. Валили лес в несколько пил. Сучковали. Колька Соловей чокеровал хлысты – Егор на бульдозере стаскивал их в огромные штабеля. Метр за метром тайга отступала, просека ширилась, продвигалась вперед. Когда-нибудь по ее руслу побежит железнодорожное полотно...

Каждый вечер, после рабочей смены, Егор уходил на Неруссу. Однажды Тося не выдержала. Пошла за ним следом. Сама не знала зачем. Непонятный, высокий страх душил ее. Когда она вышла к перекату, где он сидел, под ногой у нее хрустнул еловый сучок. Егор оглянулся. В это время хариус хватанул кузнечика, Егор дернул удочку, и сиренево-золотистый хариус упал прямо Тосе под ноги.

Хариус бился около ее ног; Егор смотрел на Тосю, она смотрела на него.

– Отцепи-ка рыбину, – сказал он. И как будто усмехнулся при этом.

Она присела, слепо нащупала руками хариуса, сдернула его с крючка, а сама продолжала смотреть на Егора.

– На, – протянула она ему хариуса.

– Брось в ведро, – приказал он; насадил нового кузнечика и забросил наживку в Неруссу.

Она стояла сзади него; он не обращал внимания, продолжал следить за поплавком. Время от времени резко выдергивал лесу из воды и тут же забрасывал снова. Она присела рядом с ним, обняв ноги руками, положив голову на колени. На той стороне Неруссы, на крутом каменистом берегу, высился расщепленный молнией кедр; в голых его, засохших ветвях, будто в паутиной сетке, стлыло закатное солнце.

– Ты презираешь меня? – спросила Тося, сама удивившись своему вопросу. Еще секунду назад она не знала, что хочет сказать ему, и вообще – о чем говорить с ним, – тоже не знала.

Он даже не покосился на нее, выдернул из Неруссы очередного хариуса.

– Значит, презираешь, – вздохнула она.

Он и на это ничего не ответил.

– Знаешь, спасибо тебе, – сказала она. – Мне давно хочется сказать тебе: спасибо.

Вот тут он взглянул на нее. Но опять ничего не сказал, только пожал плечами.

– Если бы не ты, – продолжала она, – меня давно бы выгнали отсюда. Ты вспомни, какой я борщ варила! – Она прыснула. Смех ее был взволнованный, он душил ее.

– А почему ты такой одинокий? – неожиданно оборвала она смех; голос ее дрожал.

– Никогда! – сказал он. Сказал зло, сосредоточенно.

– Что никогда? – не поняла она; кажется, у нее даже зубы стучали друг о друга.

– Никогда не будет по-твоему!

Она смотрела на него во все глаза. Она не понимала.

– Иди в зимовье, – приказал он. – И чтоб не шлялась за мной!

Она хотела рассмеяться, но только нервно всхлипнула. Она смотрела на него со страхом.

– Все, – сказал он. – Иди! – И взглянул на нее побелевшими глазами; черная его борода пенилась проседью.

Но она не могла подняться, ноги не слушались ее; сидела, чувствуя, как душа сладко и горько кипит от боли, обиды и любви.

– Иди! – твердо повторил Егор.

Шатаясь, она наконец поднялась на ноги и слепо шагнула в сторону. Она отступала спиной, продолжая смотреть на него; но он ни разу не обернулся.

Зайдя в чашу, она, не сдерживая себя, громко разрыдалась; она ничего не понимала в себе; такой боли и унижения еще не случилось в ее жизни. Ее будто током било, так сотрясалось все тело, плечи, руки...

В зимовье она вернулась затемно.

Через месяц она забеременела. Через четыре месяца об этом узнали все. Бригада не верила своим глазам.

– Кто? – спросил Егор. Он выставил всех из зимовья, посадил ее напротив себя и сверлил глазами. – Кто?! – закричал он.

Она не смела смотреть на него.

– Ну?! – он так хлопнул кулаком по нарам, что на другом конце жердин подпрыгнула подушка и свалилась на пол.

– Не наши, – прошептала она.

– Кто, кто? – как в заклинании повторял он.

– Помнишь, я была в поселке...

– Когда? Только не врать! Убью!

– Ну, тогда... после того, как я приходила к тебе на Неруссу. Когда ездила потом в поселок, за продуктами.

– Ну?!

– Там все и случилось...

Он смотрел на нее как на сумасшедшую. Не верил. Не мог и не хотел верить.

– Кто он? – снова спросил он, на этот раз совсем тихо.

– Кажется, студент. Из Ленинграда. Они там ехали дальше, на восточный участок, кажется. Пригласили меня. Выпили. Я толком не помню ничего...

– Дура! – закричал он. – Дрянь! Учти, будешь рожать. Рожать будешь!

– Буду, – покорно согласилась она.

– Будет она! – взвился он. – Да ты хоть понимаешь, что наделала?! Мы ее берегли, берегли, а она...

– Я не знаю... я сама не своя была... Я назло, нарочно...

Они посмотрели друг другу в глаза. И все стало понятно теперь. Но было поздно. Поздно...

Рожала она в поселке. Потом Юльку забрали в зимовье. Воспитывали бригадой. Нянчились по очереди.

Ропота никакого. Никогда.

Говорили так: наша Юлька, бригадная.

Каждое утро Екатерина Марковна отводила Юльку в ясли, каждый вечер забирала ее. И будто спала туманная пелена с жизни. Крутилась, вертелась, уставала, но словно глотнула свежего воздуха. Помолодела, подобралась в теле, как если бы расцвела еще одной, более зрелой, женственностью.

Ясли находились на Песчаной, и нет ничего удивительного, что однажды Екатерина Марковна с Юлькой столкнулась с Семеном Семеновичем. С момента последней встречи прошло месяца два с половиной.

Лето. Вечер. Душно в Москве.

Нуйкин поминутно вытирал пот со лба чистым, свежо пахнущим одеколоном платком.

– А Тося уехала, – как какую-то очень радостную весть сообщила Екатерина Марковна.

– Уговорили ее оставить Юльку в Москве? – спросил Нуйкин.

– О, вы догадливый! – рассмеялась Екатерина Марковна. – Если б вы знали, скольких трудов это стоило!

Нуйкин поманил Юлю на руки:

– Ну, пойдешь к дяде в гости?

Юля настороженно-вопросительно посмотрела на бабушку. И покрепче ухватила за ее ладошку.

– Кстати, вот здесь я и живу, – показал Нуйкин на дом. – Не хотите заглянуть? Правда, на посторонний взгляд у нас не совсем, конечно...

– Право, не знаю, – заколебалась Екатерина Марковна.

– Ну, как хотите, – проговорил Нуйкин; он не обиделся, нет, просто сказал, как сказалось, а ей послышалось, будто он обиделся, и она тут же добавила:

– Впрочем, можно, конечно. Правда, Юлька?

Юля важно кивнула, хотя вряд ли понимала, о чем вообще идет речь.

– Угощу вас знаете чем? Фирменным кексом! – пообещал Нуйкин.

Они вошли в подъезд страшного, тяжелого в своих архитектурных излишествах дома, в котором, чувствовалось, жили не простые жильцы. Жили избранные.

Дверь, в которую Нуйкин вставил ключ, находилась на первом этаже, сразу, как только пройдешь вахтера и поднимешься по мраморной лестнице с перилами из чугунного литья. Квартира, однако, оказалась совсем крохотной; даже, наверное, и квартирой ее назвать было нельзя – небольшая комната и чуть левой от прихожей – кухонька; больше похоже на подсобное помещение или на жилье для сторожа.

– Не удивляйтесь и не пугайтесь, Екатерина Марковна, – предупредил Нуйкин. – Здесь живет мой друг, холостяк. Вот позвал меня к себе. Живем теперь вдвоем...

Увидеть всего этого Екатерина Марковна никак не ожидала. Посредине комнаты стоял круглый, даже не полированный, а просто крашенный, самый запростецкий стол; четыре табуретки самодельного изготовления, диван, старинный обшарпанный буфет, деревянная кровать, на которой вместо матраца, было видно, настелены доски, поверх досок – тряпица, не тряпица – простыня, ну а дальше – одеяло, две подушки, накидка. Что еще? Окно (комната слепая, темная, мрачная) занавешено простенькой шторкой. Еще что? Из обстановки, пожалуй, все. Но главное – книги: везде, где только можно, лежали то стопкой, то грудой, то небрежно разбросанные, то аккуратно сложенные книги, книги, книги...

– Чем занимается ваш друг? – удивленно спросила Екатерина Марковна.

– Сережа-то? Сережа – сторож, – ответил Нуйкин. И тут же, почти без перехода: – Вы располагаетесь, Екатерина Марковна. Я сейчас... чай поставлю... И кекс... Вот, это главное – фирменным кексом вас угощу! Я же обещал!..

Непонятно, что имел в виду Нуйкин, называя кекс «фирменным». Когда сели пить чай, кекс оказался самым обычным, заурядным, в любой булочной такой продается.

– А что за секрет в вашем кексе? – поинтересовалась Екатерина Марковна.

– Как что за секрет? – удивился Нуйкин. – Это же кекс из булочной, где я работаю!

– Ах, вон что, – рассмеялась Екатерина Марковна. Юля, глядя на бабушку, рассмеялась тоже, хотя наверняка не понимала, почему бабушка смеется.

Рассмеялся и Нуйкин:

– Ловко я вас поймал на крючок?

– Даже и не знала, что вы шутить умеете. Как-то непохоже на вас.

– А многое ли в нас похоже на то, какими мы являемся в действительности?

– В самом деле, – согласилась Екатерина Марковна. – Юлечка, хочешь посмотреть картинки в книжке?

Юля кивнула.

– Да, да, верно, – восторженно воскликнул Нуйкин. – Сейчас мы тебе подберем. Сейчас... – Он взял Юлю за руку, она теперь не сопротивлялась, подвел к книгам. – Вот эту хочешь? И вот эту, да? А вот эту? Ну и умница. Садись, вот сюда, смотри картинки, только аккуратно. Хорошо?

Юля кивнула.

– Семен Семенович, вы, наверное, скучаете по дочери? – спросила Екатерина Марковна.

Нуйкин ответил не сразу. Собственно, он как бы вообще ничего не ответил, пробормотал нечто неопределенное.

– Сколько ей лет? Большая? – продолжила Екатерина Марковна.

– Девять. В этом году в третий класс пойдет.

– Большая девочка, – задумчиво произнесла Екатерина Марковна. – Как это ужасно, когда рушатся семьи... Вы хоть видите с дочерью?

– Нет, – ответил Нуйкин.

– Не видите с дочерью?! – воскликнула Екатерина Марковна. – Но это же нехорошо!

– Видите ли, она живет с бабушкой, с моей тещей, Марьяна Иоанновна меня не признает.

– Почему? Из-за ваших отношений с женой?

– Да как вам объяснить, чтобы было понятней... – замялся Нуйкин. – Если быть откровенным до конца, дочь-то мне неродная. Я женился на Жан-Жанне, когда у нее уже была Барбара. Конечно, я ее удочерил, но теперь это не имеет никакого значения. После развода теща знать меня не желает, к дочери не подпускает. Говорит: вы ей никто, забудьте ее!

– Постойте, но вы, кажется, платите алименты?

– Плачу.

– За неродную дочь?

– Родная или неродная, она моя дочь, я ее отец.

– А это ваша... жена, – споткнулась Екатерина Марковна. – Она что же? Как она относится ко всему этому?

– Жан-Жанна? Спокойно получает алименты. Радует, наверное.

– Как это?

– Ну как... Деньги до Барбары не доходят. Дочь живет с бабушкой, а Жан-Жанна – сама по себе. Все деньги, правда, не ахти какие, тратит, конечно, на себя.

– И вы платите? Несмотря на то, что знаете правду?

– Плачу.

– Нет, вы странный человек... Вы же этим только развращаете жену!

– Ее уже ничем не развратишь. Я исполняю свой долг, остальное меня не касается.

Некоторое время молчали; только что-то лопотала Юля в своем углу, рассматривая яркие картинки.

– А как вы здесь-то оказались? И кто этот Сережа? – заинтересовалась Екатерина Марковна. Ее удивляло обилие книг, хотя комната сама по себе была странная, если не убогая.

– Сережа – сторож. Мой друг. Я ушел из дома, и он позвал меня к себе. Живем теперь вдвоем.

– Странно... А как же ваша квартира? Ведь у вас была какая-то квартира? Ну та, в которую ходил Евграфов...

– Я развелся и ушел оттуда. Там осталась Жан-Жанна.

– Выходит, это ее квартира?

– Нет, квартира моя. Она досталась мне после смерти родителей. Когда мы поженились, Жан-Жанна уехала от матери и прописалась у меня. А дочку оставила у Марьяны Иоанновны.

– У вас была своя квартира? – удивилась Екатерина Марковна. – Ваша?

– О, когда-то я был богатый человек, – улыбнулся Нуйкин. – Жан-Жанна знала, за кого выходить замуж.

– Богатый? В каком смысле? – не поняла Екатерина Марковна.

– В каком смысле люди бывают богатые? – усмехнулся Нуйкин. – В том смысле, что было много денег, например.

– У вас?! Откуда?

– Я и раньше работал продавцом. Да только продавцом совсем в другом роде.

– Что-то не понимаю...

– Чего тут понимать... Работал в мясном отделе.

– Ах, вон что, – кивнула головой Екатерина Марковна. – И вы хотите сказать...

– Да, именно это. – Нуйкин не стал ждать, когда она договорит фразу. – А потом я устал.

Устал от лжи. От презрения к самому себе.

– Непохоже все это на вас... Может, вы наговариваете на себя?

– Похоже, прекрасно похоже! Вы думаете, это легко – постоянно осознавать себя подлецом?! Вот вы пришли ко мне в магазин, вы, женщина, мать, улыбнулись мне, я улыбаюсь в ответ, я заворачиваю вам мясо, вы уходите, потом старушка какая-нибудь совсем дряхлая, потом девочка, потом мужчина, и так целый день, весь день крутишься, как белка в колесе, и каждого обманываешь, хоть на сколько-то, но обманываешь, потому что тебе нужно якобы жить, нужны деньги, семье нужны деньги, жене, теще, дочери, всем – деньги, деньги... А потом оглянешься: куда деньги-то идут? Жене на тряпки? На тряпки, которых у нее чем больше, тем она больше и больше хочет иметь их? На золотые побрякушки? На груды посуды, от которой ломятся шкафы и буфеты? На картины теще, в которых, подозреваю, она ничего не понимает, а только делает вид, как делают вид многие, что что-то знают об импрессионизме, модерне, классицизме... Куда идут деньги? В серьги? В безделушки? В престижные вещи? Добытые лживым путем, деньги и не могут идти в иное дело, кроме как в фальшь! Одно связано с другим. Ты ворующий, развращаешь себя, жену, семью, дочь и самым натуральным образом живешь лживой лицемерной жизнью. И потом вообще странно: один ворует, а другой этим пользуется. Как пиявка, сидит на теле и сосет, сосет тебя... И вдруг оглянешься однажды: да что это такое?! Что за жизнь? почему? для чего? куда она ведет? в пропасть? в бездну?.. Но что началось, когда я попробовал разом изменить эту жизнь! Я превратился в изгоя, в дурака, в мерзавца, в слюнтяя, в мозгляка. Только я ушел из мясного отдела, как жена демонстративно, на моих глазах, завела пашни с Иваном Карловичем, заведующим соседним магазином. То у меня не переводились деньги, верней – деньги не переводились у жены, а теперь вдруг твердый, непривычный оклад в 110 рублей. И как сразу изменилась теща! Куда девались ее воспитанность, деликатность, культурный слог, изысканные манеры! Она стала смотреть на меня, как сквозь стекло: смотрит, но не замечает. А как иначе: ведь ей надо было покупать хрусталь, фарфор, старинные вещи, копии картин импрессионистов, каждая из которых стоит от двухсот до пятисот рублей, в зависимости от имени художника и размера полотна, а тут вдруг зять, эта бездонная денежная бочка, этот кретин и идиот, лишил ее духовной жизни, лишил всего: смысла, цели, наслаждения! Как она могла иначе отнестись ко мне, кроме как к предателю и неврастенику? И что другое могла она внушать внучке, которую держит в строжайшем повиновении? И не только в повиновении, но и в почитании к самой себе, к своим вкусам, идеалам, представлениям? Какой же искривленный человек вырастет из дочери, когда она сможет осознать самое себя! И, наконец, жена... О, она сначала думала, она надеялась, что это у меня блажь, дурь, временное, пройдет... А потом, когда увидела, что нет, тут что-то другое... как она возненавидела меня! Как хотела побольней уколоть, уязвить, как хотела уничтожить, стереть в порошок! И тут как раз этот случай с Евграфовым... Простите, с вашим мужем, Екатерина Марковна... Я хотел только одного: побыстрее развестись с женой. Но я не мог этого сделать! Удочерив Барбару, я мог развестись с женой только через суд. А жена развод не давала, боялась за квартиру, за тряпки, за вещи... А я не мог ее видеть! Я должен был развестись как можно быстрее. Немедленно! Мне нужен был сильный довод для суда... И вот я пришел тогда к вам за помощью. Но вы не поняли меня, оскорбились...

– Но я ничего не знала, – голос у Екатерины Марковны дрогнул.

– Я понимаю. Я все понимаю, – торопливо заверил ее Нуйкин. – Но у меня не было тогда никого. Все отвернулись от меня. И я пришел к вам... Вы – единственная женщина, которая могла мне помочь. Но ничего не вышло, сорвалось. И я терпел эту пытку еще три месяца.

– Вы говорите, у вас есть друг, Сережа. Разве он не мог помочь?

– Он – не мог. У него нет знакомых женщин, которые могли бы сыграть такую роль. И потом, Сережа – это вообще другое. Как бы вам объяснить. Совсем другое...

Тут неожиданно расплакалась Юля. Екатерина Марковна бросилась к ней.

– Что ты? Что с тобой? – Она подхватила ее на руки. – Ну, что за слезы такие? – Кончиком платка Екатерина Марковна вытирала Юлины слезы, которые крупными горошинами текли по щекам. – Видно, устала, – сказала Екатерина Марковна Нуйкину. – Или ей скучно стало. Мы говорим, говорим, и вот она заскучала... или испугалась...

– Да, да, конечно, – виновато-потерянно произнес Нуйкин. – Простите, заговорил вас.

– Мы, пожалуй, пойдем, – сказала Екатерина Марковна. – Правда, кнопка? – И она нажала Юле на кончик носа.

Юля, будто и не было никаких слез, восторженно рассмеялась, продолжая по инерции время от времени всхлипывать.

– Я провожу вас, – встрепенулся Нуйкин.

Предвечерняя духота на улице спала; недавно прошел легкий дождик, и воздух дышал свежестью, ароматом цветов на Песчаной, душистыми тополиными листьями, влажным ветром...

Нуйкин хотел было забрать Юлю у Екатерины Марковны, подхватить на руки, но девочка запротестовала.

– Нет, нет, что вы, – сказала Екатерина Марковна. – Сейчас она не пойдет. Рассердилась.

– За что? – удивился Нуйкин.

– Э, никогда не поймете. Так уж устроено женское сердце. – Екатерина Марковна вновь нажала Юле на нос, и та рассмеялась восторженней, чем прежде.

Шли к дому Екатерины Марковны различными переулками и закоулками.

– Чем же у вас все закончилось? – спросила Екатерина Марковна.

– Развелся и ушел от жены. Ничего мне не нужно – никаких денег, никакого богатства. Все это – страшная, изнуряющая ложь и глупость.

– Но без денег все-таки нельзя, – сказала Екатерина Марковна.

– Разве я живу без денег? Я устроился в хлебный магазин, сел именно на кассу, чтобы даже и возможности такой не было – воровать, хапать, присваивать, зарабатываю 85 рублей, и мне вполне хватает.

– 85 рублей?! – удивилась Екатерина Марковна. – Но ведь из них вы платите еще алименты?

– Да.

– Как же вы живете на такие деньги?

– Обыкновенно. Не так уж много нужно денег, чтобы жить честной жизнью. Это все только кажется, что нам не хватает денег. На жизнь – хватает, на пресыщение – не хватит никогда.

– И вы ничего не взяли у жены? Ну, не у нее, конечно, а из своей квартиры? Ведь там многое принадлежит вам.

– Мне ничего не нужно.

– Станный вы человек, – задумчиво проговорила Екатерина Марковна. – Если бы я не знала вас, я бы не поверила, что такие люди бывают на свете.

– Таких, как я, сколько угодно. Только они не на виду. Их не замечают.

– Муж всегда меня ругал, что я идеалистка. Я защищала что-то похожее на то, о чем говорите вы. Но он почти уверил меня, что такого не бывает в жизни. Я ругалась с ним, но

душой изнывала: вдруг он прав? Это ужасно, когда любую настоящую веру, любую правду топчут ногами. Смеются над ней. Перестаешь верить во что-либо святое...

– Вся вера внутри нас, – убежденно произнес Нуйкин. – Если она есть, ее никто не в силах погасить.

– Кто это сказал? – Екатерина Марковна и в самом деле подумала, что это сказал кто-то из великих. Толстой, например. Во всяком случае, очень похоже.

– Это сказал Сережа. Мой друг.

– Кто он – этот ваш загадочный Сережа? – улыбнулась Екатерина Марковна.

– Сережа – сторож.

– Ах, ну не хотите говорить – не надо. Я же чувствую, что он не совсем простой человек...

Откуда у него столько книг?

– Единственное, что у него есть, – это книги. Больше ему ничего не нужно.

– И вам?

– Я пока не дошел до этого. Мне далеко до Сережи. Сережа – это хрустальная совесть.

Это – свет. Это – чистота.

– Ну вот, опять мы пришли к нашему дому. – Екатерина Марковна показала рукой. – Что же вы никогда не заглядываете к нам? Хотя бы позвонили, Семен Семенович.

– Да как-то неудобно.

– Ну что вы, в самом деле... Звоните, заходите!

– Да, да, спасибо.

– И потом... мне хочется сказать вам... в прошлый раз вы так тепло отозвались обо мне...

Мне хочется сказать вам: не отчаивайтесь, не переживайте. Вы хороший, добрый человек. Вы должны быть счастливы!

– Да, да, спасибо... До свидания, Екатерина Марковна. – И Нуйкин поспешно отступил назад, пошел в свою сторону.

Вслед ему, конечно, смотрела не только Екатерина Марковна, не только махала на прощание рукой Юлия, но и бдительно, настороженно исследовал его спину вечный страж порядка и морали Марк Захарович в длиннополном своем, несмотря на лето, суконном пальто.

За день до того, как Евграфов пошел умирать к Жан-Жанне, он выехал на «Жигулях» из Москвы. Впрочем, он делал это каждую неделю, всегда по воскресеньям, без каких-либо изменений или внутренних отговорок. Евграфов любил сдерживать слово, даже если оно дано не кому-то другому, а только самому себе. Пунктуальность – признак настоящего мужчины.

С Садового кольца Евграфов свернул на Кутузовский проспект и очень скоро выехал на Минское шоссе. Он любил это шоссе. Просторное его полотно, окруженное с обеих сторон вековыми елями, всегда чистыми, как бы умытыми (недаром говорят – вечнозеленое дерево ель), полотно этой дороги вносило в душу Евграфова успокоение, а может, и большее – умиротворение. Он всегда включал музыку, и вот так, посвистывая или напевая понравившуюся мелодию, на большой скорости мчался по стремительной нитке шоссе.

Несколько человек пытались «голосовать» на пути Евграфова; на мужчин он не обращал внимания; на женщин старше тридцати пяти тоже не реагировал; но когда впереди замаячила тоненькая фигурка девушки, в джинсах, в короткой модной куртке, с корзиной в одной руке и с сумкой – в другой, Евграфов, не колеблясь, плавно нажал на тормоза. Чуть повернул к обочине и с молодецким шиком остановился прямо у ног девушки.

– До Ивановки не подвезете?

Ни слова не говоря, Евграфов широким жестом распахнул дверцу: садитесь, о чем разговор!

Когда Евграфов подсаживал молодых девушек, он никогда не начинал с ними разговор сразу. Он давал им возможность прийти в себя, привыкнуть к дороге, вслушаться в музыку,

осмотреться по сторонам и, наконец, расслабиться, почувствовать себя удобно, уютно в голубоватой машине, за рулем которой сидит, кажется, неплохой дядька, не пристаёт, ни о чем не расспрашивает, не лезет в душу. Правда, славный дядька, хоть и староват, кажется? И начинаются тайные поглядывания на него, примеривания взглядом... Именно так повел себя Евграфов и с этой девушкой; и вот она наконец привыкла к машине, к Евграфову, к дороге; ей нравится музыка; и вообще славно мчаться по прекрасной дороге на личной машине, о, это совсем не то, что на общественном транспорте в битком набитых автобусах...

– В Ивановку на дачу? – спросил Евграфов как можно более нейтральным голосом.

– Нет, домой, – охотно ответила девушка.

– Вы там живете? – удивился Евграфов.

– Да. А что тут такого?

– Как-то не похожи вы на деревенскую девушку.

– А я и есть не деревенская девушка, – улыбнулась попутчица.

– Ах, ну да, конечно, – подхватил Евграфов. – Я это сразу понял.

– Я из Брянска, – сказала девушка. – И надо же было такое выкинуть – вышла замуж за ивановского парня.

– Разлюбили уже, что ли?

– Я-то вроде нет, а вот он...

– Что он?

– Да представляете, по неделям дома не ночует.

– Во даёт! – рассмеялся Евграфов.

– Было бы смешно, не будь у нас дочки.

– И как же вы живете?

– Так и живем. Я с дочкой, а он Бог знает где пропадает.

– А работает кем?

– Трактористом.

– О, парень, значит, разбирается в двигателях... Между прочим, знаете, с кем вы сидите?

– Нет, а что? – И столько было простодушия в ее вопросе, столько искренней заинтересованности, что Евграфов улыбнулся. Ободряюще так улыбнулся.

– Вы сидите рядом с человеком, который открыл тайну «вечного двигателя». Слышали о таком двигателе?

– Конечно. В школе проходили.

– Вот именно – проходили. Прошли – и забыли. А мне, между прочим, принадлежит мировое открытие в этой области.

– Ой, ну будет вам! – рассмеялась девушка. – Какое такое открытие? Что-то не похоже на вас...

– Любовь – вот что такое «вечный двигатель».

– Ну, какое это открытие, – скривила губы девушка. – Это-то открыть каждый может.

– Каждый, да не каждый, – торжественно-назидательно произнес Евграфов. И начал развивать свою теорию. Поскольку девушка была замужем и знала тонкости любви, Евграфов смело развертывал перед ней картины великого открытия. А когда он сказал про особый прибор, который человечество должно обязать каждого семьянина привязывать к ноге, девушка прыснула и про себя подумала: «Господи, какой дурак!» Евграфов, не обращая внимания на ее смех, изложил свою теорию до конца.

– Но это же глупость какая-то, – сказала девушка, и не думая, конечно, шадить Евграфова.

– Да?

– Да!

Евграфов озабоченно покосился на девушку – она смело встретила его взгляд, – помолчал секунду-другую и неожиданно рассмеялся:

– Смотри-ка... А я думал – я гений.

– Ну, конечно... Вы шутите. Правильно я поняла?

– А черт его знает! Вроде не шучу, а получается – никто не верит. Значит, шучу.

– Ой, кстати, вон поворот на Ивановку! Не проскочите, пожалуйста. Высадите меня.

– А хотите, подброшу вас прямо к деревне?

– Ой, нет, нет, что вы! – запротестовала она.

– Бойтесь?

– А как же? Вдруг увидит кто-нибудь. Подумают всякие глупости. Деревня все-таки...

– Значит, муж гуляет – можно, а вам гулять ни в какую нельзя?

– Разумеется.

– Разумеется? – изогнул бровь Евграфов.

– Конечно! Чего тут удивительного? Мужчина – это одно, а женщина – совсем другое.

– Ах, вот бы вы сказали эти золотые слова моей жене! – И Евграфов, нажав на тормоза, остановился недалеко от стрелки, показывающей поворот на Ивановку.

Девушка вылезла из машины, стройная, молодая, со смеющимися глазами, сказала ему кокетливо-озорно (теперь можно быть смелой, она в безопасности):

– Спасибо вам большое! Желаю вам сделать настоящее открытие.

– Эй, постойте! – крикнул Евграфов. Он и сам не знал, что с ним происходит. Ему хотелось быть легким, щедрым, добрым. – Вы знаете, кто я такой? Я художник.

– Вот это больше похоже на правду, – рассмеялась девушка.

– Хотите, я нарисую ваш портрет? Прямо сейчас, вон в том лесочке? На фоне вековой ели?

– Зачем же в лесочке? – она насмешливо качала головой. – И потом, я совсем не та, чьи портреты рисуют художники.

– Вы та! – клятвенно заверил Евграфов. – Вы именно та!

– Ну, я пошла, – ускользала она. – До свиданья. Еще раз – большое спасибо!

– Постойте же! – крикнул Евграфов. – Я хочу подарить вам свою картину.

– В самом деле? – Она, честно говоря, смотрела на него с недоверием.

– Да, в самом деле. – Евграфов поспешно вылез из «Жигулей», открыл багажник и, развернув холстину, вытащил из груды картин копию «Обнаженной» Ренуара. – Вот, – протянул он девушке. – Возьмите. Это мой подарок.

– Это ваша картина? – Удивление ее было искренним и, самое главное, глубоким.

– Да, конечно. – Евграфову не было жалко копии, хотя она стоила немалых денег.

– И вы сами нарисовали ее? – щеки девушки, как и щеки «Обнаженной» Ренуара, пылали румянцем.

– Разумеется. – Евграфов вытащил из кармана записную книжку, размашисто написал телефонный номер и, вырвав страницу, протянул девушке. – Если захотите найти меня, позвоните по этому телефону.

Она не протянула руку, потому что обеими руками крепко держала копию «Обнаженной», любясь ею (и несколько стыдясь этого, конечно). Тогда Евграфов сам положил листок поверх «Обнаженной».

– Счастья вам! – Сел в машину, хлопнул дверцей и сорвался с места на большой скорости.

В боковое зеркальце он еще долго видел, как девушка стоит на обочине и провожает взглядом «Жигули». Евграфов усмехнулся.

Вскоре девушка исчезла из поля зрения, и Евграфов, увлеченный дорогой, даже, кажется, вовсе забыл о ней.

У Дорохова он свернул с шоссе на местную дорогу и поехал по направлению к Рузе. Где-то вот-вот должен был открыться поворот в нужный ему Пансионат.

И он открылся, и Евграфов с легким сердцем нырнул в глубину леса.

Антонина Степановна (Тонечка) уже поджидала его. Всякий раз, в воскресенье, примерно в это время, она выходила на дорогу, высматривая вдалеке голубые «Жигули» Евграфова. И, когда наконец дожидалась, радовалась Евграфову, как дитя, улыбалась ветхой, старческой, но такой осиянной, горячей улыбкой.

– Ах, Кант, – как обычно, сказала она, – я, право, начала беспокоиться. Дороги нынче такие страшные, такое напряженное движение, а тебя нет и нет...

– Ну что ты, Тонечка, какое там движение. Шоссе почти пустынное, – улыбнулся Евграфов. – Давай садись...

Евграфов называл Антонину Степановну «Тонечкой», так было удобней, привычней, хотя шел «Тонечке» восьмой десяток.

Антонина Степановна села в машину, и в пять минут они подъехали к главному корпусу Пансионата. В сущности, это был обычный дом престарелых, но именовался он почему-то Пансионатом, причем с большой буквы.

Евграфов, как обычно, вытащил из багажника плетеную корзину, прикрытую сверху серой холщовой тряпицей.

– Ох, ну опять ты за свое, – с неудовольствием проговорила Антонина Степановна, хотя неудовольствие ее было показное, нарощенное. – Сколько можно просить тебя, Кант!

– Ничего, ничего, Тонечка. Римские полководцы знаешь сколько за неделю съедали? Быка, теленка, поросенка, гуся, утку, курицу и, наконец, жареную лягушку.

– Про лягушку явно придумал... сознайся, а? – Антонина Степановна смотрела на Евграфова с лукавой хитрецей.

– Про быка придумал. Про теленка, поросенка, гуся, утку, курицу придумал. А про лягушку – нет.

И они вдвоем, как старый и малый, охотно рассмеялись.

Комната Антонины Степановны была на первом этаже. Дежурная в вестибюле, из которого, как из пруда, в две стороны по длинным светлым коридорам растекались бархатно-зеленые чистые ручейки-дорожки, почтительно кивнула Евграфову, как давнему, старому знакомому.

– Ну, как тут наши старушки, не шумят, не балуют? – шутливо спросил Евграфов.

– Ну что вы... Все хорошо, все хорошо.

Из окна Тонечкиной комнаты открывалась широкая, сердце захватывающая панорама. Архитектор, задумавший построить здесь Пансионат, наверняка родился на свет с поэтической душой. Пансионат, как драгоценный камень в перстне, был вправлен в ландшафт так, что возносился над всей местностью. Вниз от Пансионата растекались леса, густо-зеленые и темные от вековых елей, в которых островками пылали по осени огненные липы, а иногда, но гораздо реже, чем липы, желтели березы, как бы еще более оттеняя могучую зелень еловых и сосновых лесов. Леса эти неожиданно, в глубокой низине, обрывались рекой, которая казалась отсюда, сверху, то голубой, то зеленой, то серой сверкающей лентой, небрежно брошенной с небес на землю, к подножию лесов. А там, за рекой, за Рузой – на другой ее стороне, лесов не произрастало нисколько, там распахнулись в поднебесном пространстве широкие, во все края желтеющие поля, обочь которых то там, то тут притаились маленькие, сказочные с высоты, деревушки. Над рекой, над струящимся ее простором, раскинулся длинный подвесной мост, который не то что от ветра, но даже и от людей, идущих по нему редким бисером, подолгу качался-покачивался, будто был подвешен на резиново-пружинных нитях.

Всякий раз, глядя из окна Тонечкиной комнаты, Евграфов ощущал, как сжималось сердце от этой красоты и воли, и испытывал странное беспокойство, как если бы ему хотелось

вдруг покончить с жизнью, броситься головой в омут или вначале воспарить над землей, а затем камнем упасть вниз, разбиться вдребезги.

– Когда, наконец, и я стану стариком?.. – то ли в шутку, то ли всерьез сам себя полуспросил Евграфов.

– Э, не успеешь оглянуться, а старость тут как тут, – махнула рукой Антонина Степановна. – Чего ее торопить?

– Вот состарюсь, Тонечка, все брошу, женщин брошу, картины, семью, работу и поселюсь где-нибудь в этих краях. Грехи замаливать.

– Много их у тебя, грехов-то? – не поверила Антонина Степановна Евграфову.

– А это как посмотреть. Иной раз оглянешься – не жизнь, а черная дыра. В другой раз помотришь – нет, все-таки жил, любил, безумствовал. Впрочем, какая разница... Жизнь – проигранная лотерея. Даже если иногда вытягивал золотой билет.

– Ну, что-то ты совсем закис там, в Москве, голубчик. Уж не случилось ли чего-нибудь?

– Да вроде все нормально. Но что-то тянет вот тут, Тонечка, – показал Евграфов на грудь.

– Видать, переутомился. Беречь надо себя, беречь...

Евграфов начал доставать из корзины гостинцы. Десяток сырых яиц, сыр рокфор (Тонечка обожала его), кусочек свежей грудинки, литровую банку малосольной капусты (с рынка, с рынка, конечно), пачку индийского чая, конфеты-батончики.

– Ой, ну куда мне столько! – замахала руками Антонина Степановна. Всякий раз она ругалась с Евграфовым, но тот не слушался ее, обязательно привозил что-нибудь вкусное, свежее, стараясь не повторяться, и у Антонины Степановны скопился такой запас еды, что она не знала, куда все складывать: холодильник был забит до отказа.

– Ничего, ничего, Тонечка, – весело приговаривал Евграфов. – Смотришь, кусочком грудинки побалуешься, капусткой закусишь, чайком с конфетой запьешь... оно и веселей станет, а?!

– Да нас тут кормят на убой... что ты! Ну куда я все это дену?

Так ли, этак ли, но продукты наконец находили себе место, и Евграфов с Антониной Степановной выбирались из Пансионата погулять. Гуляли они всегда подолгу, иной раз час, иной раз больше, в зависимости от того, спешил Евграфов или не очень. Жила Тонечка в Пансионате третий год, души в нем не чаяла, всем сердцем благодаря Евграфова, что когда-то он пристроил ее сюда. Чего греха таить, поначалу она обижалась на Евграфова, плакала, разговаривать с ним не хотела (уломал, уговорил ее поехать из Москвы – из своей-то комнаты! – в Пансионат, пожить, отдохнуть, воздухом свежим подышать, а оказалось – это дом престарелых, тут Антонина Степановна перепугалась насмерть: что это задумал Евграфов? уж не выдворить ли ее хочет из квартиры?), но пожила в лесу, у реки, на свежем воздухе и почувствовала, будто заново родилась. То еле ноги таскала в Москве, давно в могилу собралась, от лекарств передыху не знала, а тут даже о бессоннице забыла, на лыжах – на лыжах! – зимой стала кататься, в семьдесят два года, а летом – каждое утро – потихоньку, помаленьку, но бегала по лесным тенистым дорожкам; и ведь ничего! Да что там ничего, наоборот – такое ощущение однажды пришло, будто жить ей еще долго-долго, так вдруг распрямилась душа, так неожиданно возродилось тело! И, самое главное, даже думать о Москве перестала, поначалу хоть ездила туда иногда, а теперь – как бритвой отрезало: ни за что! В эту гарь, в эту толчею, в эту мясорубку? Ни за что! Единственное, что ее связывало теперь со столицей, – приезды Евграфова, которому она радовалась, как родному сыну. Переживала за него, старалась вникнуть в его дела, заботы, тревоги, хотя, надо сказать, Евграфов особенно не посвящал старушку в свой мир.

Гуляли по лесным тропкам; спускались к реке; переходили на ту сторону Рузы; выходили в поля... Евграфов и сам не заметил, как эти приезды сюда, в вольную вольницу света, воздуха, безлюдья, простора, стали для него необходимостью. Он не просто навещал Тонечку, он полюбил ездить сюда, каждый раз как бы обновляясь здесь душой.

- Как Тося? Что-нибудь пишет? – поинтересовалась Антонина Степановна.
- Нет, ничего.
- Ох, своенравная девчонка!
- Да пускай, – сказал Евграфов. – Побесится, помотается – только польза будет.
- Катя-то что говорит? Переживает небось до сих пор?
- А чего ей говорить? Она особенно со мной не разговаривает... Ну как же – я мерзавец, подлец! Спровадил бедную Антонину Степановну в дом престарелых!
- Не говори так...
- Да это не я, они так думают. Жена меня ненавидит, а Тоська в знак протеста против нашей, как ей кажется, ужасной, невыносимой жизни убежала в тайгу. И черт с ними!
- Ну, зачем ты так, Кант Георгиевич? Ведь это твоя семья.
- Ладно, не буду. Как о семье подумаю, так мне выть хочется! Уж такая Екатерина Марковна правильная, такая идейная, такая справедливая, что, честное слово, Тонечка, в омут хочется. Да зачем в омут? – улыбнулся Евграфов. – Я лучше к женщинам... Эх, женщины, – вздохнул он, – и понять их нельзя, и ухватить не ухватишь, и в могилу не забереешь.
- Женщины для мужчины – это пустое, – сказала Антонина Степановна.
- Что, что? – удивился Евграфов.
- Если мужчина посвящает жизнь женщине, он остается в конце концов с пустотой.
- Как это ты глубоко задела, Тонечка! – воскликнул Евграфов. – Сразу, пожалуй, и не поймешь.
- Вот возьми жизнь Марка Петровича, отца Кати. Уж кто-кто, а это был безупречный человек, всего себя отдал семье, жене, даже Кате. Работы для него не существовало (хотя он работал ведущим инженером на заводе «Динамо») – только семья. И что же? Однажды он узнает, что Катя, возможно, совсем не его дочь... И все рушится для него в один день. Вся жизнь!
- Как не его дочь?! – поразился Евграфов. – А чья?
- Только это, конечно, между нами, голубчик, а? – Антонина Степановна посмотрела на Евграфова строго и требовательно. – Поклянись!
- Клянусь! – для Евграфова что клясться, что не клясться было все едино – в клятвы он не верил.
- Ты, конечно, знаешь Марка Захаровича, ну, старика такого, из соседнего подъезда? В длиннополом пальто всегда ходит?
- Ну, еще бы. Гроза дома и блюститель нравственности. Мерзавец, по-моему, отменный.
- Так вот, представь себе, Марк Петрович возомнил, что жена его, Мария, спуталась с Марком Захаровичем.
- Ну, это глупости. С таким-то мозгляком, с этой мокрицей?
- В том-то и дело. Ну, что-то там было, конечно, но так, легкое, чисто женское кокетство, серьезного абсолютно ничего. А Марк Петрович взревновал. Его больше всего угнетало, что отчество у дочери – Марковна. Ты понимаешь? Он – Марк, и тот – Марк, и вот это его мучило. Марк Захарович, по совершенно случайному и глупейшему совпадению имен, мог ведь тоже считать себя отцом Екатерины Марковны. Это во мнении, конечно, Марка Петровича. И он закусывает удила. Устраивает смертельный скандал Марии. Разводится. Но сил уехать от семьи не имеет. Живет в той же квартире. В отдельной комнате, рядом со мной. И очень скоро высыхает. Ты понимаешь? Женщина для него – все, и когда женщина падает с пьедестала, пусть даже мнимого, он погибает. Для мужчины это невозможно. Для настоящего мужчины, конечно.
- Что же возможно для настоящего мужчины?
- Дело. Мужчина должен творить, созидать, производить. И будет счастлив. А семья – это его тыл.
- Ну, тогда мне крышка, – подытожил Евграфов.

– Ну, тебе-то... о чем ты говоришь, голубчик? Ты имеешь дело с искусством, с картинами, с художниками. Тебе стыдно жаловаться.

– Ни с чем и ни с кем я не имею дела. Я пуст. Пуст я, Тонечка, как консервная банка.

– Стыдись, о чем ты говоришь!

– Ты слишком хорошо ко мне относишься, Тонечка. А я совсем другой человек. Я не то что ни в каком деле смысла не вижу, я даже в семье смысла не нахожу, в дочери не нахожу, а уж в жене – тем более.

– Это ты устал, устал, голубчик. Каждый в свое время переживает подобное. А потом раз – и возродился.

– Ах, ну ладно, Тонечка, что это мы обо мне да обо мне. Как ты-то тут поживаешь? Что новенького? Как здоровье?

Нагулявшись всласть, они вернулись в комнату к Антонине Степановне. В окне ее, за рекой, в далеких полях садилось солнце. Комната пылала розовым свечением.

За чаем, который они всегда пили перед прощанием, Тонечка вновь вспомнила:

– Кант Георгиевич, дорогой, только помни наш уговор: о Марке Захаровиче никому ни слова! В особенности Екатерине Марковне.

– Тонечка, да не беспокойся ты об этом мозгляке. Тем более что неправда все это. Так, одна болтовня, сплетни.

– Ну, хорошо, хорошо... Я тебе верю, голубчик.

После того, как Евграфов уехал, Антонина Степановна немного взгрустнула. Она всегда грустила, когда прощалась с Евграфовым. Привыкла к нему. А может, и больше – полюбила. А может, другое тут было – сострадание, например; впрочем, что именно, она сама не знала. Не будем и мы гадать.

На другой день Евграфов поехал к Жан-Жанне умирать. Он не знал, что умрет, но именно умирать и поехал.

Кстати, к женщинам Евграфов никогда не ездил на своей машине – в гостях приходилось пить, – поэтому брал всегда такси. Такое у него было правило. И к Жан-Жанне, конечно, тоже поехал на такси. С подарками, с шампанским, с цветами, с тортом... Отношения Евграфова с Жан-Жанной с романтических рельсов постепенно сошли на обычные – любовноделовые, будничные. И тем не менее Евграфова тянуло к Жан-Жанне: чего-то он недопонимал в ней, чувствуя в то же время, что сам он – вот такая странность – ясен ей, как дважды два. В последнее время Евграфов не был уверен в себе, что-то отягощало душу, тянула боль в груди и хотелось, чтобы кто-то пожалел его, вот как жалела иногда Тонечка, но чтобы это была молодая, красивая, цветущая женщина... чтобы это была сама жизнь, что ли.

– На кухне посидим? Или в спальне? – спросила Жан-Жанна.

– Пожалуй, в спальне, – ответил Евграфов.

Пока Жан-Жанна сервировала изящный, инкрустированный столик в спальне (столик был на колесиках, что представляло большое удобство: можно то подкатить его к постели, то откатить подальше), Евграфов, заложив за спину руки, с торжественным и даже несколько таинственным видом ходил по квартире. Квартира была небольшая, но уютная: две комнаты и кухня. В каждой комнате на полу лежало по ковру, так что нога мягко и нежно утопала в глубоком ворсе. Стены в комнатах оклеены немецкими обоями: в большой комнате – золотые амфоры по сочномалиновому полю, в маленькой, то есть в спальне, – червленые листья клена по голубому небу. Широкая деревянная кровать, инкрустированная, как и столик, в арабском стиле, занимала третью часть спальни; накрыта кровать японским, ослепительной голубизны, покрывалом, на котором разместились для отдыха два аиста все того же червленого золота. Над постелью – «Обнаженная» Ренуара, в богатой резной раме, облитой, как глазурью, густым блистающим лаком. Естественно, «Обнаженная» – подарок Евграфова. В квар-

тире висели еще картины – все те же импрессионисты, подаренные, естественно, Евграфовым. В спальне, например, – «Голубые танцовщицы» Дега, и если все это окинуть единым взглядом: голубые стены, голубое покрывало, «Голубые танцовщицы», два кресла, покрытые японскими, того же небесного цвета, накидками, голубые пуфики, деревянная инкрустированная кровать, такой же столик, такой же гардероб, – то можно понять, отчего так нравилось Евграфову бывать у Жан-Жанны. Ведь ничего похожего не было в квартире Евграфова, хотя денег водилось у него без счета, – жена Евграфова презирала роскошь.

В большой комнате, кроме хрусталя, статуэток, огромного обеденного стола, окруженного резными арабскими стульями, кроме картины «Гуляние капуцинок» Писсарро, кроме богатого ковра, кроме глубоких мягких кресел, кроме цветного телевизора, кроме японского стереомагнитофона «Сони», кроме тяжелых сборчатых портьер, так вот – кроме всего этого на одной из стен висели книжные полки, в которых, как солдаты дисциплинированного войска, вытянулись во фронт яркие, новенькие, блистающие, разноцветные книги-конфетки. Среди них, конечно, в первую очередь выделялись Дюма и Дрюон, зависть и мечта многих нынешних любителей чтения.

Ну, а то, что на кухне висела знаменитая картина Мане «Завтрак на траве», об этом и говорить не приходится. Как не приходится говорить и о том, что копия Мане – подарок Евграфова. Как не приходится удивляться тому, что вся кухня выдержана в зеленых тонах – райский сад, зеленые пуши, «Завтрак на траве», пение птиц – изумрудных попугайчиков...

– У меня все готово! – объявила Жан-Жанна.

Евграфов поцеловал ее в щеку.

Потом, как всегда, много ели, пили, Жан-Жанна улыбалась, а Евграфов нет-нет да и чувствовал какое-то странное томление в груди. Ему хотелось поговорить с Жан-Жанной о чем-то таком, о чем никогда не говорил с ней прежде, но разговор все время сбивался в привычное, давно отшлифованное русло, и Евграфов иной раз испытывал растерянность.

– Все время хочу представить твоего мужа, – сказал Евграфов.

Жан-Жанна притронулась кончиком языка к своей яркой малиновой родинке, облизнула губы и удивленно вскинула на Евграфова глаза; да, так и было – сначала удивилась, потом рассмеялась:

– Только этого не хватало – чтобы вы встретились.

– Я хочу представить, а не встретиться, – обиженно проговорил Евграфов.

– Может, фотографию показать?

– Я видел.

– Мало этого?

– Что фотография... Мне вообще его представить хочется. Как человека. Кто он? Какой? О чем думает?

– Ого! – вновь рассмеялась Жан-Жанна. – Надо было об этом раньше мечтать, когда в первый раз меня в постель тащил.

– За что ты его не любишь?

– А за что его любить? Слюняй и тряпка.

– Странно, – произнес Евграфов. – Ведь все, что у тебя есть, – это от него? Это он сделал?

– Еще бы! Женился – впрягайся в лямку: корми семью, заботься о жене, и чтобы в доме полная чаша была!

– Так все и есть.

– Так все было! А теперь, видите ли, он задумался о жизни, дурак! Он больше не хочет. Ему надоело. Он устал. О, я знаю, это все штучки его нового дружка! Завелся на мою голову червь. И точит... и точит...

– Что за дружок?

– Да если б я его увидела, я б ему сама глотку перегрызла. Поэт какой-то. Или философ. Словом – шантрапа, потому что не писатель он никакой, а дворник, бросил все: дом, семью, детей, работу, устроился дворником и вот обрабатывает моего дурака: не воруй, не изменяй, не пей, не хапай, не ной...

– Интересно, интересно...

– Да черт бы с ним, с этим сумасшедшим! Так ведь мой-то дурак стал слушаться его. Ты представляешь: бросил мясной отдел. Как прикажешь теперь жить? Может, мне снова на работу устраиваться?

– Так ты же в парикмахерской можешь не меньше зарабатывать, чем он в мясном? Тем более на новом Арбате.

– Могу. Да не хочу! Жена я или не жена? Красивая? Молодая? Любимая? А он – муж или не муж? Вот пусть и вкальвает. Пусть обеспечивает семью. И чтобы по высшему счету! А иначе...

– Ну что – иначе?

– А иначе зачем женился? Видел, на ком женился? Знал мои запросы? Удочерил мою Барбару? Давал теще деньги?..

– Удочерил Барбару? Ты смотри какой.

– Да, удочерил. Да, да! А теперь – в кусты? Теперь – ничего не надо? Теперь – рядовая зарплата продавца? Да если б он не был мясником, я б на него никогда не посмотрела! На черта он мне нужен? Ведь не мужик – слюняй и тряпка!

– А по-моему, хороший он у тебя мужик.

– О, ты его еще позацищай! Сам-то небось деньги лопатой гребешь? Сам-то небось ко мне примчался, а не к какой-нибудь Машке или Дашке? Сам-то небось на машине разъезжаешь? С художниками якшаешься? Об искусстве трелью заливаешься? А мой чтоб дурак – в дыре сидел? В галоше? И чтоб я вместе с ним? Ну нет, не бывать этому!

Позже, конечно, постель примирила их. Жан-Жанна утихла, задремала, а Евграфов лежал, оглушенный непонятной тоской и печалью. И такая это была тоска, такая печаль, что, не будь рядом Жан-Жанны, он бы наверняка разрыдался, да еще так разрыдался, чтобы можно было повыть во весь голос, ох и повыть... и долго-долго выть... как волку... у которого хвост примерз ко льду, а его бьют батогами да коромыслами да приговаривают: не ходил бы ты, волчище, во чужой двор, не ходил бы ты, треклятый, по чужую рыбку!

И надо же – скатилась-таки слеза по щеке Евграфова.

– Жанна, – прошептал он.

Если бы он сказал это в полный голос, она бы не услышала его, а вот так, от шепота его, сразу вздрогнула:

– А? Что?

– Ты не любишь меня?

– О Господи, – недовольно проворчала она. – Нашел о чем спрашивать.

– Знаешь, – сказал Евграфов, – я подумал... я лежу и думаю... это очень странно. Моя жена презирает меня, а ты – презираешь своего мужа. Моей жене не нужны деньги, а тебе наоборот – нужны.

– Тоже мне открытие.

– Да не в этом дело. У меня есть деньги, а у твоего мужа – нет. И все равно вы нас обоих презираете. Странно...

– Ничего странного, – сказала Жан-Жанна и сладко зевнула. Зевнула и так же сладко, гибко, томно потянулась. – Оба вы негодяи. Только – один с деньгами, а другой – без.

– А? – не понял Евграфов.

Он подумал: «Может, я ослышался?»

– Бэ! – с нажимом произнесла Жан-Жанна.

Евграфов изумленно покосился на Жан-Жанну. Он лежал, откинувшись на подушки, лежал тихо-тихо. И с закипающей болью в груди закрыл глаза. Сердце катилось в пустоту.

Жан-Жанна как ни в чем не бывало накинула на себя халат, вышла на кухню. Впервые Евграфов не открыл глаза, не посмотрел, как одевается Жан-Жанна: тело у нее было нежное, молодое, с бархатистой смуглой кожей.

Пока Жан-Жанна заваривала чай с лимоном, Евграфов думал. Он ничего не понимал. И хотел сказать кому-то, пожаловаться, что ничего не понимает. Но сказать было некому.

«А это что? – подумал Евграфов. – Не понимаю... Ах, вон что... нет, нет... не хочу!.. нет!».

И закричал.

– Ты чего тут? – Жан-Жанна вошла в спальню с подносом в руках; на подносе дымились две чашки чая.

Евграфов лежал мертвый.

Врач, который приедет вместе с милицией, будет загадочно повторять:

– Ну вот, еще один типичный случай: «Локус минорис резистенциэ».

– А что это такое?

– Место наименьшего сопротивления. По-латыни: *Locus minoris resistentiae*.

– И что это за место у человека?

– У каждого свое, – скажет врач. – У многих – сердце.

Что происходило с ней, Екатерина Марковна сама не знала. Но чувствовала: с некоторых пор ей не хватает Нуйкина. То есть не то чтобы его самого, а общения с ним, разговора. Хотя что такого особого сказал ей за все время Семен Семенович? Но вот – она ждала. Она надеялась, что он или позвонит ей, или заглянет на огонек, но прошел месяц, второй, наступила зима, а Нуйкин так ни разу и не объявился. Екатерина Марковна затосковала. Казалось бы, тосковать ей некогда, столько хлопот и забот прибавилось с внучкой, но, как ни странно, заботы эти не могли отвлечь ее от глубокой внутренней работы, от напряжения души, от ожидания каких-то светлых, решительных перемен в ее жизни. Но что за перемены могут быть у женщины в ее возрасте?

А Нуйкина все не было и не было, и Екатерина Марковна в один день просто-напросто испугалась: уж не случилось ли чего-нибудь с ним? До этого ей гордость не позволяла заглядывать к Семену Семеновичу в булочную: вдруг подумает, что она нарочно пришла, а тут решила – пойду. Отпросилась на работе пораньше, задолго до того, как надо будет из садика забирать Юлю, и поехала от «Пушкинской» на «Сокол», в булочную.

Первое, что увидела, – Нуйкина за кассой не было. Вместо него сидела дородная женщина, спокойная до флегматичности, до того, что, казалось, вот-вот уснет за кассой, если к ней не подойдет очередной покупатель и не потревожит ее.

– Простите, а где Семен Семенович? – не без смущения спросила Екатерина Марковна.

Кассирша не сразу взглянула на нее. Она сначала как бы выплыла на поверхность из глубокого сонного омута, затем повела глаза в сторону Екатерины Марковны, причем во взгляде ее застыла такая безбрежная маслянистая поволока, что и не верилось, что это человеческие глаза, но все-таки она взглянула на Екатерину Марковну, а вот ответить ничего не ответила.

Екатерина Марковна пожала плечами: странно...

Она подумала: может, кассирша не поняла вопроса? И только решила повторить его, как женщина наконец подала голос:

– А вы кто ему будете?

– Я? – растерялась Екатерина Марковна, потому что кое-кто в булочной начал посматривать на нее с любопытством: чего это, мол, нужно ей от кассирши? И хотя ей хотелось ответить:

«А вам, собственно, какое дело?» – грубо ответить, она сказала другое, совершенно неожиданное: – Родственница.

Кассирша облила Екатерину Марковну маслянистым сомневающимся взглядом:

– А если родственница, знать должны: Семен Семенович неделю как болен. Стыдно...

«И правда...» – молнией пронеслось в голове Екатерины Марковны; то есть что правда, она сама не знала: что он болен или что ей должно быть стыдно? – но именно так все отозвалось в ней – согласием с кассиршей.

И она вышла из булочной, какое-то время никого и ничего не замечая, просто шла и шла. Но вскоре спохватилась: «Как же так, он болен, а я?..»

Она бросилась по магазинам: покупать соки, яблоки, апельсины, молоко, творог, сыр...

Через полчаса стучала в дверь квартиры, где жил Нуйкин вместе с загадочным Сережей. Никто не ответил. Екатерина Марковна толкнула дверь – она открылась. В комнате стоял полумрак, так что Екатерина Марковна со света поначалу ничего не увидела. Но затем облегченно вздохнула: в углу, на кровати, лежал Семен Семенович. Он спал. Что он спал, было ясно потому, что он никак не реагировал на приход Екатерины Марковны. Продолжал лежать, спокойно, глубоко дыша, выложив руки, как ребенок, поверх одеяла.

Екатерина Марковна на цыпочках прокралась к нему, присела на табуретку. Он спал, а она смотрела на него, склонив голову, и, сама того не замечая, улыбалась. Впервые она заметила, что у Семена Семеновича, несмотря на его залысины, на крупный тяжелый нос, было красивое одухотворенное лицо, которое во сне приобретало выражение значительности и мудрости спокойствия. Как же она никогда раньше не видела этого, не замечала?

Она пошевелилась на табуретке, и Семен Семенович, нахмутив брови, с трудом, медленно открыл глаза.

Он смотрел на нее, она – на него. Улыбаться она перестала, просто смотрела, как мать смотрит на несчастное, заболевшее дитя.

– Вы? – прошептал он.

– Я, – кивнула она.

– Откуда? – спросил он и, кажется, даже встревожился.

– И вам не стыдно? – вместо ответа упрекнула его Екатерина Марковна. – Неделю болеете и ничего не сообщите. Мог бы и ваш Сережа позвонить.

– Его нет. Он в отъезде. – Семен Семенович и в самом деле почувствовал себя виноватым.

– Что с вами? – спросила Екатерина Марковна. – Бедный вы мой, что с вами?

– Так, пустяки. – Нуйкин покраснел от ее неожиданных слов. – Простыл немного. В булочной весь день на сквозняке...

– Я так и решила... Впрочем, что это я, – встрепенулась Екатерина Марковна. – Я тут кое-что принесла. Сейчас приготовлю... Молоко вскипячу. Вам обязательно нужно молоко пить. Горячее. С пенками.

– Ну, зачем вы...

– Все, все, молчите! Я вас и слушать не хочу!

Екатерина Марковна быстро разделась и нырнула со своими сумками в кухню. Выглянула, только когда услышала в комнате шум: Семен Семенович пытался подняться с кровати.

– Ни в коем случае, – испугалась Екатерина Марковна. – Что вы! Вам нужно как можно больше лежать.

– Неудобно перед вами...

– Я вам приказываю! – скомандовала Екатерина Марковна. – Вы слышите? Только лежать. Чем больше покоя, тем быстрее выздоровеете.

Нуйкин не стал больше спорить, сдался.

Минут через десять он сидел на кровати и маленькой ложкой, как ребенок, ел с блюдца творог, обильно политый земляничным джемом. Затем Екатерина Марковна поила его горя-

чим молоком – заставила выпить целую поллитровую банку. Нуйкин вспотел, бусинки пота выступили на лбу и на носу. Он пил молоко с удовольствием, потому что как-то вообще редко покупал молоко, все большей чай да чай. А тут – такое вкусное, свежее, можайское...

Вскоре он с удовлетворением откинулся на подушку. Закрыв глаза. Оттого еще закрыл, что не знал, как вести себя дальше, что говорить, – присутствие Екатерины Марковны смущало его.

– Врач к вам ходит? – поинтересовалась она.

– Да, конечно. – Он открыл глаза. И улыбнулся глазами.

– А я думаю, куда вы пропали? И нет вас, и нет...

– Ну зачем я вас буду беспокоить?

– Меня не хотите видеть – хотя бы на Юльку посмотрели.

– Я ее вспоминал. Правда, вспоминал! – Он разволновался, словно боясь, что Екатерина Марковна может не поверить ему.

– А меня? – спросила она.

Он не знал, что ответить. Как ответить. Какими словами.

– Меня вспоминали? – Вопрос ее был беспощаден.

– И вас, – признался он.

– Ах, вы знаете, Семен Семенович, – живо, скороговоркой залепетала она, – знаете, Семен Семенович, – но не выдержала, рассмеялась счастливо, покраснела, – я хотела еще спросить у вас... правда, хотела... куда это девался ваш Сережа? Куда уехал? – И так этот вопрос не соответствовал ее радостному смущенному смеху, что Нуйкин не понял, всерьез ли она спрашивает. Темные ее волосы отливали синим густым огнем, черные глаза горели, щеки в румянце, и все лицо ее, вместе с белоснежными в смехе зубами, светилось счастьем самозабвения и любви.

– Он на Урал уехал, – медленно, любуясь лицом Екатерины Марковны, проговорил расстроенный Нуйкин. – Родственников навестить.

– Правда?.. – смеялась Екатерина Марковна. – А вы знаете, Семен Семенович, я сейчас, когда шла к вам, увидела неподалеку дворника, с бородой такой, страшный, с лопатой, я испугалась: думаю, неужто это Сережа? Ужасно старый... Хотела спросить о вас, да испугалась. Ой, держите меня! – продолжала она смеяться.

– Нет, это Степаныч, – снисходительно улыбнулся Нуйкин. – Сережа молодой, а это – старик, хороший дед, добрый, в соседнем доме работает.

– Сколько же Сереже лет?

– Сереже? Тридцать три...

– Надо же... знаменитый возраст! – Екатерина Марковна несколько успокоилась, перестала смеяться, но на лице ее продолжала блуждать загадочная (а быть может, умиротворенная) улыбка. – Семен Семенович, ну хоть мне-то вы можете сказать, кто он, этот ваш Сережа?

– Сережа? Дворник. Сторож и дворник. Я же вам говорил, – простодушно ответил Нуйкин.

– Ах, Семен Семенович, Семен Семенович, – снова рассмеялась Екатерина Марковна. – Не хотите говорить – не надо. Я не настаиваю. Мне не нужно. Мне просто интересно знать, как вы сами живете, кто вы такой...

– О, если бы не Сережа, я бы так и погиб. Я бы так и думал: живу хорошо, живу правильно. Может, я и мучился бы, но никогда бы не понял, отчего, почему. Вы представьте себе: однажды я обвесил его, я тогда еще в мясном отделе работал, он поманил меня в сторонку и говорит... Но представьте еще и другое: одет он бедно – сапоги, фуфайка, рабочие рукавицы... Кого я замечаю, когда стою за прилавком мясного отдела? Я замечаю меховые шубы, дубленки, каракулевые папахи, лисьи воротники, котиковые шапки, норковые манто... И вдруг – сапоги, фуфайки, рукавицы. Конечно, я давно приметил его, у него особенный взгляд, осо-

бенные глаза, но как покупатель он меня не интересовал, и обвешивал я его скорее по инерции, чем нарочно; обвешивать я любил богатых... И вот представьте, он поманил меня в сторонку.

– И что же вы?

– Улыбнулся снисходительно и подошел: ну, чего тебе? А он вдруг, как молитву, стал говорить мне слова... Я до сих пор помню их. Не наизусть, конечно, но почти.

– Что же это за слова? – заинтересовалась Екатерина Марковна.

Семен Семенович прикрыл глаза и медленно, выделяя каждое слово, заговорил:

– «Поищите между этими людьми и найдите от бедняка до богача такого человека, которому бы хватало того, что он зарабатывает... и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него... и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуются еще другое и еще другое, и так без конца идет эта сизифова работа, губящая жизни людей...»

– Ведь это Толстой! – воскликнула Екатерина Марковна.

– Я в то время не знал еще, что Толстой. Я, честно говоря, тогда вообще мало что понял из этих слов. Другое важно, меня вдруг пронзил стыд. *Пронзил*, понимаете? Откуда, почему, не знаю, но жгучий стыд возгорелся во мне, и я залился краской, как провинившийся ученик. А он повернулся и ушел.

– Странно...

– С тех пор он начал иногда разговаривать со мной... Остальную мою жизнь вы знаете.

– Семен Семенович, я хотела у вас спросить, – медленно проговорила Екатерина Марковна, – можно, пока вы болеете, я буду заглядывать к вам? Сейчас-то мне уже нужно бежать, – она виновато улыбнулась, показала на часы: – Юльку из садика забирать...

– Да я почти здоров, – бодро сказал Нуйкин. – Что вы будете беспокоиться из-за меня?

– Нет, нет, несколько дней вам не мешает полежать в постели. Что вы, каждый человек должен беречь свое здоровье. Я, если можно, забегу к вам завтра. Часиков в шесть.

– Ну зачем вы...

– Для меня это не обременительно, не думайте! Просто хочется хоть что-то сделать для вас. Вы хороший... Вы сами не знаете, какой вы хороший человек.

– Ну, хороший, – махнул рукой Нуйкин. – Загляните в мое прошлое – там одна грязь, пошлость, обман. Это вы, Екатерина Марковна, славная женщина. Многострадальная и славная. Спасибо вам!

– Так, значит... – смутилась Екатерина Марковна, – завтра я загляну к вам. Хорошо? Не возражаете?

– Хорошо, – согласился наконец Нуйкин.

«Здравствуй, дорогая мамочка!

Наконец решила сообщить тебе свою главную новость. Я вышла замуж. Только, пожалуйста, не плачь, не ругай меня. Все хорошо, я счастлива. Когда была дома, что-то мешало быть с тобой откровенной. Может, обида на тебя из-за папы. Может, собственная моя вина перед тобой из-за Юльки. (Господи, как я соскучилась по ней, если бы ты знала! Как хоть она? Не болеет? Не забыла меня еще? Пишу, и слезы капаят на бумагу...) Теперь могу открыться тебе: мой муж – наш бригадир, ему двадцать семь лет, зовут его Егор Новиков. Егорушка... Весной мы приедем в Москву и, не обижайся, мама, заберем Юльку с собой. Остальное напишу в другой раз – тороплюсь, уходим из поселка в зимовье. Целую тебя и Юльку тысячу раз. Тося.

P.S. Мамочка, одна к тебе просьба. Когда приедем в Москву, не расспрашивай Егора о его жизни. У него была жена и дочь, они трагически погибли в автомобильной катастрофе, когда добирались к нему в тайгу. Но это – только между нами. Надеюсь, ты поймешь, ты ведь у меня умница.

Тося».

К середине марта снег на улицах Москвы растаял почти весь, и Семен Семенович уже без всякой боязни ездил по городу на «Жигулях». Когда лежал снег и стояли морозы, Семен Семенович ездить не решался – опыт был небольшой. А теперь садился за руль довольно смело. Да и то сказать: ездить особенно было некуда – ну, отвезти Екатерину Марковну на работу, ну, забрать ее домой, по пути можно захватить Юльку, что еще? Пожалуй, все. Не поедешь же на «Жигулях» в булочную, которая находится в десяти минутах ходьбы от дома? Семен Семенович поначалу сопротивлялся, не хотел и слышать о машине, но Екатерина Марковна настояла на своем, убедила Нуйкина: почему «Жигули» должны пропадать? Неужто будет лучше, если машина просто-напросто сгниет в гараже? Довод был разумный, и Семен Семенович в конце концов сдался.

Привык Семен Семенович и к тому, что его гараж находился рядом с гаражом художника Хмуруженкова. Удивительного тут ничего не было, ведь Евграфов дружил с Хмуруженковым, жили они рядом и, естественно, когда надумали строить гаражи, поставили их не только бок о бок, но и используя одну стену как общую. Неужто неразумно? Конечно, разумно. И Семену Семеновичу не оставалось ничего другого, кроме как привыкнуть к этому. Трудней было привыкнуть к другому: не к тому, что приходилось здороваться с Хмуруженковым, и не к тому, что Хмуруженков относился к нему довольно дружески, и даже не к тому, что однажды Хмуруженков вполне серьезно предложил Нуйкину написать его портрет: лицо, мол, у вас колоритное, что-то такое типично московское, неуловимое, – нет, не к этому; а к тому, что в машине Хмуруженкова, в бордовом его «Москвиче», частенько сидела невинно улыбающаяся, веселая и наглая Жан-Жанна. Конечно, Нуйкин давно знал, что после смерти Евграфова очередным любовником Жан-Жанны стал художник Хмуруженков; когда еще Нуйкин продолжал жить с Жан-Жанной в одной квартире, ожидая, как манна небесная, развода, она, уже не стесняясь, приглашала в дом Хмуруженкова. Мрачный, ядовитый на слово, вспыльчивый Хмуруженков помыкал Жан-Жанной, вслух называл ее «дурой», «растением», что, впрочем, не мешало ему спать с ней. И кто мог знать, что пути-дороги Нуйкина и Хмуруженкова вновь пересекутся, но теперь уже на новом витке: гаражи их соединит общая стена. Однажды Хмуруженков даже упрекнет Семена Семеновича:

– И где это вы откопали такую дуру? – имея в виду, конечно, Жан-Жанну.

Он как будто обвинял еще Нуйкина, что ему досталась такая любовница. Нуйкин потрясенно взглянул тогда на Хмуруженкова, но ничего не ответил.

Впрочем, ему что-то нравилось в Хмуруженкове. Может быть, то, что художник открыто помыкал Жан-Жанной.

...Как-то раздался телефонный звонок, и тонкий девичий голос спросил:

– Кант Георгиевич?

– Нет, это не Кант Георгиевич, – ответил Нуйкин.

– Передайте вашему Канту, что он наглый обманщик.

– Простите, девушка, но... – замялся Нуйкин.

– Он подарил мне картину, сказал, что сам нарисовал ее. А это «Обнаженная» Ренуара. Я недавно видела репродукцию в «Огоньке».

– Ах да, да, понимаю, – сочувственно проговорил Нуйкин, напряженно думая, сказать или не сказать девушке о смерти Евграфова.

– Что вы понимаете! – гневно закричала девушка. – Меня из-за этой картины муж избил, а вы – «да, да, понимаю...» Я из-за этой картины войну выдержала, чуть до развода не дошло, а вы – «да, да, понимаю...» Какие вы все обманщики, мужчины! А еще говорил мне: «Хотите, я нарисую ваш портрет? Вон в том лесочке? На фоне вековой ели?» Как же вам всем не стыдно?! – И, будто плюнув в Нуйкина, бросила трубку.

Позже раздался еще один любопытный звонок. В тот вечер в гости к ним пришел Сережа, Юлька уже спала, сидели за столом, пили чай. Не очень часто, но Сережа заглядывал к ним, любил поговорить с Екатериной Марковной о литературе, а с Семеном Семеновичем – о жизни. Екатерина Марковна так и не могла разобраться, что за человек Сережа, откуда он такой взялся, и, так как Сережа постоянно уходил от расспросов в сторону, она со временем перестала докучать Сереже. Воспринимала его таким, каков он есть. Когда надо будет, все само по себе встанет на свои места. Так она решила.

И вот сидели, пили чай, говорили о литературе, и тут зазвонил телефон. Екатерина Марковна вышла в коридор, сняла трубку.

– Квартира Евграфовых?

– Да, да, – ответила Екатерина Марковна.

– Можно пригласить Канта Георгиевича?

– Простите, а кто его спрашивает? Я его жена.

– Это главврач Пансионата. У нас находится Антонина Степановна Юдина, она в тяжелом состоянии. Очень просит приехать Канта Георгиевича... как бы это вам сказать помягче... попрощаться.

– Простите, – опешила Екатерина Марковна, – но разве Антонина Степановна жива?

– Как то есть жива? – в свою очередь удивилась главврач. – Конечно, жива. Но с тех пор, как Кант Георгиевич перестал к ней приезжать, Антонина Степановна очень сдала.

– Что-то я не понимаю... – пробормотала Екатерина Марковна. – Разве Кант Георгиевич приезжал к ней?

– Да, каждую неделю. Точней – каждое воскресенье. И вдруг как отрезало... Старушка сильно переживает. Однако она гордая, все носит в себе. И вот только теперь... когда у нее кризисное состояние...

– Странно. Он никогда ничего не говорил мне...

– Так можете вы передать Канту Георгиевичу просьбу Антонины Степановны приехать к ней?

– Но дело в том, видите ли... – Екатерина Марковна не знала, что и говорить. – Может, я сама могу подъехать? Мы с Антониной Степановной были в очень хороших отношениях.

– Нет, она просит приехать именно Канта Георгиевича. Для нее это очень важно, поймите!

– Понимаю... Да, да, понимаю... Но вы знаете, все дело в том, что Кант Георгиевич... умер.

– Как умер? – не столько изумилась, сколько не поверила главврач.

– Да, умер. От сердечного приступа.

– Господи! – воскликнула главврач, – да что же это за напасть такая: чем лучше люди, тем быстрее они умирают?!

– Простите? – не поняла Екатерина Марковна.

– Ваш муж был прекрасный человек. Добрый, веселый, внимательный. Что я скажу теперь Антонине Степановне? Ведь это подкосит ее окончательно. Он был ей вместо сына.

– Да, да... – ничего не понимая, лепетала Екатерина Марковна. – Не знаю, право, что и делать... Может, в самом деле, я могу приехать? Почему бы и нет?

– А, пожалуй, это идея, – воодушевилась главврач, – пожалуй, и в самом деле будет неплохо, если приедете вы. Тем более, вы говорите, с Антониной Степановной у вас хорошие отношения?

– Да, да, всегда были отличные отношения.

– Только у меня к вам просьба: не говорите старушке, что Канта Георгиевича нет в живых. Ну, сотрите что-нибудь... длительная командировка... Зарубежное путешествие...

– Конечно, конечно. Зачем же... обязательно.

– Ну, спасибо вам! Вы замечательная женщина. Так мы вас ждем завтра?

– Да, завтра. Обязательно. Не сомневайтесь.

Когда Екатерина Марковна вернулась на кухню, на ней лица не было.

– Что с тобой? – встревожился Семен Семенович. – Что случилось? – Он подхватил ее под руку, посадил на стул.

Некоторое время Екатерина Марковна молчала, не в силах вымолвить и слова. Семен Семенович озабоченно переглянулся с Сережей.

– Что-нибудь с Тосей? – предположил Нуйкин.

– С Тосей? Нет, нет, другое... – медленно проговорила Екатерина Марковна.

– Но что другое может так разволновать тебя? Что-нибудь на работе?

– Нет, – помотала она головой. – Семен, – сказала она твердо, – завтра мы едем с тобой в Пансионат.

– В Пансионат? В какой Пансионат?

– К Антонине Степановне. Завтра с утра.

– Поедем, – согласился Нуйкин, хотя мало что понял. Он помнил: Антонина Степановна – бывшая соседка Евграфовых. Но, насколько он знал, она умерла.

– В Пансионат? На кладбище? – на всякий случай спросил он.

– На какое кладбище?! – раздраженно проговорила Екатерина Марковна. – Антонина Степановна жива.

– Но ты сама говорила...

– Да, говорила. Да, считала, она мертвая. Но оказалось, она жива. Больше того – Евграфов все время ездил к ней. Я всегда думала, что он выжил ее из квартиры. Что он загнал ее в гроб. И вдруг такая тарабарщина...

– Да, ваш Евграфов, – вставил слово Сережа, – любопытный орешек.

– Любопытный?! – полыхнула гневом Екатерина Марковна.

– Любопытный в том смысле, – пояснил Сережа, – что всегда может выкинуть что-нибудь неожиданное.

– Да вы-то откуда знаете?!

– Вы сами рассказывали.

– Так уж много я вам рассказывала! – Екатерина Марковна впервые, пожалуй, разговаривала с Сережей так резко, если не грубо. Да и с Семеном Семеновичем никогда не говорила с таким раздражением.

– Кстати, у меня к вам маленькая просьба, – улыбнулся Сережа. – А то вдруг вы вконец на меня рассердитесь и выгоните из дома.

Екатерина Марковна взглянула на Сережу внимательно, напряженно. И вдруг подумала: Господи, ну они-то тут при чем? При чем Сережа? Семен Семенович? Разве они виноваты в чем-нибудь? Что это я на них? За что? Вот глупая баба... дура... ведь жалеть буду потом, каяться».

Сережа не улыбался теперь, смотрел на Екатерину Марковну тоже серьезно, внимательно.

– Простите, – виновато проговорила Екатерина Марковна, – простите, Сережа. И ты, Семен, прости. Это у меня что-то с нервами.

– Ну, что вы, о чем вы говорите, – сказал Сережа. – Все совершенно понятно, и нам не за что обижаться на вас. Правда, Семен?

– Правда, – кивнул Нуйкин.

– А просьба у меня к вам такая. Только не сочтите ее за грубость... Помните, вы однажды рассказывали мне, что ваш муж оставил конверт, на котором написано: «На случай моей смерти – распечатать». Вы его распечатали?

– Да, распечатали. – Екатерина Марковна переглянулась с Семеном Семеновичем.

- Что вы переглядываетесь? Я что-нибудь не так сказал?
- Нет, нет, ничего, – проговорила Екатерина Марковна.
- Если нельзя – то нельзя. А если можно – то не скажете ли, что он написал там?
- Да вам-то зачем?
- Мне нужно. Но если нельзя – я не настаиваю.
- Да ничего там нет. Так, глупости какие-то...
- Неужто ничего? Совсем ничего?
- Ничего.
- Не понимаю, – пожал плечами Сережа.
- А, да что там понимать! – махнула рукой Екатерина Марковна. – Семен, покажи Сереже конверт.
- Катя, стоит ли? – смутился Нуйкин.
- Раз просит – покажи. Пусть убедится, каким был Евграфов. – Семен Семенович вышел из кухни, через минуту принес конверт: «Вот».
- Сережа достал изнутри листок; листок был сложен вдвое. Сергей осторожно развернул его – там не было ни слова. Но зато был нарисован огромный, красочный, симпатичный кукиш.
- Ну, что там? – усмехнулась Екатерина Марковна.
- И Сережа удивленно, в раздумье ответил:
- Кукиш...

Люблю и ненавижу

Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет...

Н. С. Лесков

І. Мельниковы

Татьяна лежала на кровати, положив руки под голову; за стеной, у Надежды, гремела музыка, слышались смех, шутки; несмотря на шум, сын Татьяны Андрюшка спал спокойно и безмятежно – сказывалась многолетняя привычка.

Татьяна лежала в полной темноте, с открытыми глазами; ждала, как всегда, мужа.

Скрипнула дверь, и послышался возбужденный шепот Надежды:

– Тань, ты спишь?

Татьяна молчала.

– Ведь не спишь, – продолжила Надежда. – Пойдем к нам, слышь, Таня?..

Татьяна не ответила; Надежда потихоньку прошмыгнула в дверь, вслепую подошла к кровати, присела рядом с Татьяной. Вздохнула:

– Все ждешь? Эх, Танька, Танька, губишь свою молодость...

От этих слов, сказанных искренне-горячо и горестно, Татьяне стало совсем худо.

– Не спишь? – наклонилась над ней Надежда; дыхание ее было шумным и горячим.

– Нет, – наконец подала голос Татьяна: молчать дальше было неудобно – Надежда хорошо знала ее, знала, что Татьяна не могла уснуть, когда Анатолий подолгу не возвращался домой.

– Вот видишь, не спишь... А чего тогда молчишь? – снова горячо и убежденно зашептала Надежда. – Чего расстраиваешь себя? В твои-то годы да так мучиться... Ну, встряхнись, опля – и к нам...

– Нет, Надя, ты иди. Я одна хочу побыть...

Видно, Надежда обиделась, что ее порыв Татьяна встретила так холодно, – немного помолчала и, пожав плечами, сказала:

– Ну, как знаешь... Тебе же хуже. – Встала и пошла к двери.

Но вдруг остановилась, постояла, как бы глубоко задумавшись о чем-то, раскачиваясь в такт своим мыслям, а затем шагнула чуть в сторону, к кровати Андрюшки, и опустилась перед ним на колени, прошептала что-то, погладила его вихрастую голову.

Андрюшка спал глубоко, будто обморочно, за день намаившись в ребячьей беготне до последнего предела, – что ему чей-то шепот, чужая женская ласка... Он спал, Надежда стояла перед его кроватью на коленях – все это было хорошо видно, потому что сквозь щель приоткрытой двери пробивался в комнату яркий коридорный свет, и Татьяна смотрела на них, поймав себя на странной мысли: Господи, да что же это такое, наша жизнь?! Она знала, Надежда была искренна сейчас, не играла и не прикидывалась, потому что всегда относилась к Андрюшке с нежностью, даже с каким-то истовым обожанием, которое было трудно понять до конца. Трудно было понять причину, истоки этого обожания. Может, ей тоже хотелось сына? Но ведь, родив когда-то Наталью, которая на будущий год должна уже окончить школу, Надежда дала себе зарок – больше никогда не рожать. И сами роды, и вся последующая семейная жизнь оглушили ее, и ничего теперь не хотелось... Тогда откуда это обожание Андрюшки, совсем чужого для нее мальчика? Вот чего никак не могла понять Татьяна. Как вообще в последнее время она многое не могла понять: мир как бы раскололся для нее на мелкие осколки – и собрать их

воедино недоставало сил, она постоянно стремилась осознать этот мир, ухватить его мыслью, догадаться о главном, что составляет смысл человеческой жизни... А вместо этого, вот как сейчас, когда она лежит в кровати, а Андрюшка спит, а перед ним на коленях стоит Надежда и гладит его голову рукой, вместо этого она переполнена невыразимой тоской: Господи, да что же это такое – наша жизнь?! Что это?!

Надежда поднялась наконец с пола, постояла еще немного рядом с кроватью Андрюшки и вдруг, не оборачиваясь к Татьяне, сказала не шепотом, а почти в полный голос:

– А что, если они не наши дети, а просто другие существа? С какой-нибудь неизвестной планеты?

Татьяна ничего не ответила, потому что не знала, что отвечать, да и вообще – как можно всерьез воспринимать такие вопросы?

– Ладно, я пошла! – Надежда как бы сама отмахнулась от своего вопроса. – Захочешь – приходи. Слышь, Таня?.. – и закрыла за собой дверь.

Татьяна вновь окунулась в тягучее оцепенение... потом, кажется, она уснула. Еще потом, вздрогнув, с тяжелой головной болью вынырнула из сна, – а может, из оцепенения – и, хмурясь, проклиная себя за слабохарактерность, подумала: нет, так можно сойти с ума, нужно встать и попробовать чем-нибудь заняться... Как всегда, она обманывала себя, потому что, когда она ждала, она только ждала, и это состояние унижительного, порабощающего душу ожидания не могла перебить ни сном, ни посторонним делом. Татьяна привстала, села на постели, но ноги ее так и не ступили на пол, – она застыла в неудобной позе, как будто забыв не только свою мысль, но и самое себя тоже, кто она, где она, зачем она... За стеной продолжалось веселье, гремела музыка, а Татьяна все сидела на кровати не шелохнувшись, не думая ни о чем, в полной прострации...

Щелкнула замком входная дверь, и Татьяна разом напряглась как струна: Анатолий? Нет, это был не он. По быстрым легким шагам, по тому, как небрежно и свойски были сброшены с ног туфли, Татьяна догадалась: Наталья. Навстречу ей вышла из комнаты Надежда – Татьяна услышала их разговор, резкий, непримиримый голос Натальи и виноватый, оправдывающийся голос Надежды, потом все смолкло – обе, вероятно, ушли на кухню. Татьяна знала: вскоре Наталья постучится к ней в комнату, – гостей матери Наталья выносила с трудом и при всяком случае старалась сказать им что-нибудь колкое, а то и оскорбительное. Конечно, мало кто всерьез обращал внимание на выходки девчонки, все считали – это так, возрастное, обыкновенная грубость и невоспитанность современной сопливой молодежи, для которой нет ничего святого на свете...

Уверенная в том, что Наталья с минуты на минуту может прийти к ней, Татьяна заставила себя встать, включила настольную лампу, достала из платяного шкафа белье и, поудобней расположившись в кресле, занялась починкой. Со стороны все выглядело так, будто Татьяна, тихая, счастливая, умиротворенная, давным-давно сидит и чинит белье... Так именно и показалось Наталье, когда через несколько минут она действительно заглянула в комнату к Татьяне.

– Во, хоть один нормальный человек! – сказала Наталья обрадованно. – Привет, Тань! Трудисься?

– Здравствуй, Наташа! – ровно ответила Татьяна, скрывая внутреннее свое состояние. – Проходи, чего в дверях стоишь?..

Наталья села на стул, небрежно красивым движением закинув ногу на ногу. Гибкая, стройная, в короткой – с широким поясом – куртке-ветровке, она казалась совсем взрослой, уверенной в себе, и только душа ее, знала Татьяна, была еще детская, неокрепшая...

– Слушай, а где твой Анатолий? – спросила Наталья.

– Спроси чего-нибудь попроще. – Татьяна продолжала заниматься починкой, не поднимая глаз на Наталью.

– Да, проблема... – вздохнула Наталья, и в голосе ее звучали (странно для Татьяны) нотки пожившей, немало повидавшей в жизни взрослой женщины. – А у нас вон, слышишь, гуляют...

– Знаю, – Татьяна откусывала нитку, и это «знаю» прозвучало хлестко, как будто зло.

– Приглашали?

– Надежда заходила.

– Слушай, Тань, скажи – только честно. Тебе нравится моя мать?

– Нравится, – без колебаний ответила Татьяна.

– Знаешь, она всем нравится... вокруг нее так и вьются. А меня зло берет! Дура я?

– Ревнуешь, – спокойно сказала Татьяна.

– Я – ревную?! – возмутилась Наталья. – Да мне плевать на нее. Просто обидно – и все.

– Чего обидно-то? – спросила Татьяна, хотя могла и не спрашивать: разве она не знала жизни соседей?

– Обидно, что отец с матерью как кошка с собакой... А тут все вьются... и что надо? Так бы и засунула всех в мясорубку!

Татьяна улыбнулась на эти слова: эх, Наталья, Наталья...

Татьяна была старше Натальи на семь лет, к тому же Наталья – всего лишь девятиклассница, а Татьяна – замужняя женщина, у нее вон Андрюшке шесть лет, через год в школу пойдет, и все-таки, несмотря на разницу в возрасте, Татьяна с Натальей говорили на «ты», что-то в них – в обеих – было такое, из-за чего ну никак не представишь, чтобы они обращались друг к другу на «вы», – по духу и по душе они походили, пожалуй, на сестер-близнецов.

В дверь квартиры неожиданно позвонили. Татьяна невольно вздрогнула, хотя это никак не мог быть Анатолий: у него был свой ключ и в дверь он никогда не звонил, даже если приходил совсем поздно.

– Два звонка. К нам, – иронически усмехнулась Наталья. – Мало их там, так еще кто-то вспомнил...

– Пойди открой, – сказала Татьяна.

– Сами разберутся.

Действительно, дверь открыли, но почти сразу к Татьяне заглянула Надежда.

– Тань, к тебе. – И без перехода добавила, обращаясь к дочери: – Выйди, пожалуйста. Ты мне нужна.

– Это еще зачем? – пробурчала Наталья, но спорить не стала, поднялась со стула. Встала с кресла и Татьяна, так что из комнаты они вышли вместе.

В прихожей Татьяна увидела мать; та все еще стояла у порога, маленькая, в обтрепанном пальто, не решаясь раздеваться, пока не увидит Татьяну.

– Ты что же два раза звонишь? – в который раз проговорила Татьяна. – К нам один звонок.

– Путаюсь. Как ни приду, так путаюсь, – развела руками мать.

Татьяна помогла ей снять пальто, подала тапочки. Мимо них прошел рослый, с обвисшими усами парень. Обронил иронически и хмельно:

– Добрый день, граждане... Извините!

Мать посторонилась, а Татьяна и внимания на него не обратила, хотя видела его у Надежды не в первый раз. Однажды он даже сказал ей: «Какая симпатичная девушка – и такая сердитая! Чес-слово, загадка природы!..» Но Татьяна и бровью не повела – она вообще не любила гостей Надежды. Почему? Сама не знала. Ну, пьют, ну, веселятся, ну, шумят – но разве этого достаточно, чтобы понять и узнать людей?

– Чай будешь? – спросила Татьяна у матери и, когда та кивнула, добавила: – Пойдем на кухню. Андрюшка спит, так что там будет удобней.

Наталья сидела на кухне. Подперев лицо руками, смотрела в темное окно. Что там было видно? Ничего, только бесконечные освещенные окна противостоящих домов.

– Чего она тебе? – поинтересовалась Татьяна у Натальи, имея в виду: зачем Надежда позвала ее?

– Чтоб вам не мешала. А! – И махнула рукой. – Может, я пойду к тебе? Посижу, почитаю. Как?

– Чаю не хочешь с нами?

– Чай – наш традиционный семейный напиток. Меня от него тошнит.

– Иди, конечно... Чего спрашиваешь, – сказала Татьяна.

Это у них повелось с давних пор: когда у Надежды гости и Наталья не очень злилась, она сидела у Татьяны, а когда злилась всерьез, уходила вообще из дому. Хлопнет дверью – и нет ее.

– Как жизнь, тетя Нюра? – полуобернувшись на пороге кухни, спросила Наталья. Светлые пушистые волосы, темные, сливового оттенка глаза, стройные, будто литые ноги, яркая броская куртка – сколько в Наталье было чистоты и странного вызова, встревоженности и одновременно незащитности. – Лучше всех, ага? – добавила сама и улыбнулась. И такая это была хорошая, грустно-ободряющая, грустнопонимающая улыбка – совсем не девическая, а опять же показалась Татьяне улыбкой взрослой, много повидавшей в жизни женщины... Но откуда в ней это?

– Лучше всех, Наташечка, только воробей живет, – ответила мать Татьяны. – Все-то он щебечет, все-то он хлопочет, ни зима, ни лето ему не страшны... Нам бы так, грешным.

Такое с матерью бывало иногда: вдруг впадет в елейносказочный речитатив, – тоже не поймешь, откуда что берется... Наталья, правда, знала об этой ее особенности, поэтому не очень всерьез воспринимала слова Татьяниной матери.

Улыбнувшись, Наталья вышла, и женщины сели пить чай. Татьяна заметила, как мать быстро, почти жадно намазывала на хлеб масло и откусывала хлеб, торопясь, словно мог кто-то войти и прогнать ее с кухни. Стеснялась Надежды, ее гостей? Или просто, как всегда, побавилась Анатолия?

– Анатолий еще с работы не вернулся. У них там что-то аварийное... – сказала Татьяна и увидела, как с матери сразу спало напряжение. – У меня мясо тушеное есть. Может, поешь? – И по тому, как мать поспешно кивнула головой, Татьяна поняла: мать голодная...

Татьяна быстро разогрела мясо, макароны, налила в тарелку побольше подливки, в которую – для аромата – любила покруче добавить лука с чесноком, отчего с Андрюшкой у них все время шла война: тот с трудом переносил лук в каком бы то ни было виде, и вот Татьяна приспособлялась – «прятала» его в подливах. Зато как любила Татьянину еду мать! Чем бы Татьяна ни угощала ее, – все мать ела прихваливая да причмокивая, любила сытно и вкусно поесть, хотя редко когда ей это удавалось сделать. Жила она одна, пенсия пятьдесят три рубля, то купить, это, да квартплата, свет, газ, в одежде одной тоже век ходить не будешь – вот и жила, перебиваясь; как она сама говорила – «перемогом».

– Андрюха как, не болеет? – спрашивала мать, поспешно и жадно поглощая еду; когда-то Татьяна не любила мать за эту ее черту (и не только за эту), но постепенно не то что привыкла – смирилась, научилась находить для матери разные оправдательные причины.

– Здоров, – ответила Татьяна, невольно улыбнувшись при одном только упоминании сына.

– Ох, его беречь надо. В таком-то возрасте. Чуть что – того и смотри... – говорила мать, и трудно было понять, что именно имела она в виду. – У тебя рубликов пять – семь не найдется до пенсии?

– Рублей пять могу дать. – И Татьяна, как всегда, когда разговор с матерью заходил о деньгах, покраснела, смешалась, поспешно вышла в коридор и достала из пальто кошелек. В это время из своей комнаты вышла Надежда, прыснула, как только увидела Татьяну, и горячо зашептала ей на ухо: «Представляешь, Тань, сватаются вдвоем... Я говорю им: вы посмотрите

внимательно, я похожа на сумасшедшую? А они мне: мы хорошие, мы друг друга обижать не будем...» Татьяна подумала: «Черт-те что...», а вслух сказала:

– Надь, мне некогда. Мать на кухне ждет.

– Во, пойдем к тете Нюре! Спросим у нее: права Надька или нет? – И Надежда громко, горько-весело рассмеялась.

Вошли на кухню; деньги при Надежде отдать матери Татьяна не решилась, да и не до них сейчас было, потому что Надежда затеяла свой разговор:

– Слушай, тетя Нюра, один к тебе вопрос... Но сначала, – и Надежда хитро подмигнула матери, – скажи, только честно: пропустишь с Надеждой за нашу пропащую жизнь?

– Зачем за пропащую? – оживилась Татьянина мать. – Это ты, Надежда, не дело говоришь. Пьют за жизнь, а там уж она сама пропадай, как хочет...

– А что, мысль! – Надежда даже бровь изогнула в изумлении. – Значит, тетя Нюр, согласна, ага?

Мать то ли хмыкнула, то ли кивнула, понимай как хочешь, и Надежда поспешно вышла из кухни.

– Опять вы за старое! – упрекнула Татьяна.

– Что-то меня просквозило третьего дня. Вот тут, – показала мать на поясницу. – Так и стреляет, так и стреляет...

Хотела водочный компресс сделать, глядь – а водки-то и нет. Пришла вот к тебе, думаю, выручишь деньгами...

– Это-то да, выручу. Конечно. Но пить-то не обязательно, правда? – и хоть сердясь (да что поделаешь), протянула матери пять рублей.

– Опять она тебя уму-разуму учит? Ох и неугомонная Танька! – На кухню вернулась Надежда. – Я тебе, тетя Нюра, скажу по секрету: Танька нас ругает, а сама втихаря пьет... а? – И, зная, как это нелепо, неправдоподобно звучит, Надежда сама и рассмеялась.

– Ее время, – сказала Татьянина мать, – еще не пришло...

– А когда придет, – вставила Надежда, – поздно будет. Так?

Никто ничего не ответил; мать Татьяны была благодарна Надежде в эту минуту и рада бы ей поддакнуть, да побаивалась дочери, поэтому промолчала.

– «Живем, чтобы любить», – усмехнулась Татьяна. – Твои слова?

– Тань, ты делаешь успехи. Дай мне волю – из тебя такая ученица выйдет! Как, тетя Нюра, научим Таньку жить?

– Ученого учить... сама знаешь, – польстила мать Татьяне.

Выпили они вдвоем; Татьяна, разумеется, к рюмке не притронулась.

– Слушай-ка, тетя Нюра, вот ты жизнь прожила, – начала Надежда. – Много в ней врала?

– Никогда! – обиделась та.

– Врешь! – погрозила Надежда пальцем. – Как раз ты-то и врала всю жизнь. Да и сейчас врешь. Думаешь, я не знаю?

– Угостила – теперь можно обижать старуху?

– А! – махнула рукой Надежда. – Со мной-то ты можешь не прикидываться? Или ты думаешь, я не знаю твою жизнь? Все знаю, все!

«Ну, началось», – тоскливо подумала Татьяна.

Надежда чокнулась со старухой:

– Ты, тетя Нюра, благодари Бога, что Татьяна у тебя такая. Я бы на ее месте ох и дала бы вам всем разгону! Обложили девку со всех сторон, каждый для себя выгоду ищет, Анатолий – тот вообще...

– Надя! – не удержалась Татьяна.

– А что Надя, что Надя! Я уже тридцать шесть лет Надя, – ну и что? Не правду, что ли, говорю? Ведь обнаглел...

В коридор вышла Наталья и, не заходя на кухню, громко сказала:

– Ты лучше на себя посмотри! Правду она говорит...

– Чего-о? – Надежда полуобернулась к дочери. – Во, тоже сердитая, – показала она всем на Наталью. – А чего она сердитая, спрашивается?

– Пожалуй, пойду я... – засобиралась мать Татьяна. – Засиделась, загостевалась...

– Ты этих своих, – выразительно кивнула Наталья в сторону комнаты, – сама попросишь или мне с ними поговорить?

– Сколько там на часах? – постучала Надежда по Таниной руке. – А, да, поздно уже, поздно... Счас, Натусик, мы их турнем, что ты, ты не думай, счас мать турнет их, расселись, понимаешь... Да я им... – Надежда с решительным видом направилась в свою комнату.

Мать Татьяны поднялась со стула вслед за Надеждой. Татьяна не стала ее задерживать.

– Ну, спасибо тебе большое! За хлеб, за соль. Что выручила меня. Спасибо, Танечка. – Мать попыталась расцеловать Татьяну в коридоре, но та не любила материнских поцелуев и сделала головой неуловимое движение в сторону, так что они обнялись на прощание, но не расцеловались.

– Андрюхе передай – бабушка в другой раз гостинец принесет. Скажи – выздоровеет бабушка и придет, принесет гостинец.

– Скажу, скажу...

– А худо будет, заходи ко мне. Что-то совсем к старухе дорогу забыла...

– Ты же знаешь, работа, семья, Андрюшка... Голова кругом!

Мать Татьяны кивнула согласно: эх, жизнь наша грешная, суматошная, как не знать...

И с этим вышла из квартиры. Татьяна хорошо представляла, как мать радостно сейчас спускается по лестнице с пятого этажа, как, возможно, на какой-нибудь промежуточной площадке, остановившись, перекладывает заветную пятерку в сумке из одного карманчика в другой, как благословляет судьбу, что не повстречалась с Анатолием, которого она не только стеснялась, а – боялась, потому что иной раз, нимало не смущаясь, Анатолий зло и прямодушно бросал в пространство, как бы в никуда: «Опять приживалки в дом повадились...» Когда Татьяна протестовала, Анатолий еще больше раздражался: «Хотите видеться – можешь ходить к ней, а у нас богадельню устраивать нечего!..» Странное дело, Анатолий как будто мстил матери Татьяны, но за что? Даже не мстил, а вымещал на ней все плохое, что накапливается в любой жизни за долгие годы...

Татьяна вернулась к себе в комнату. За столом сидела Наталья, читала книгу. Подняла глаза.

– Не ушли еще эти? – С каким презрением произнесла она последнее слово – «эти»!

– Нет еще, не ушли. – Татьяна села в кресло, вытянув ноги, в тяжелом изнеможении сложив руки на подоле халата. Как она устала от этого бесконечного, унижительного ожидания. Почему она ждет? За что ей эта кара? Почему не может отвлечься, забыть, плюнуть на все? Или на самом деле она такая беспросветная дура?

Татьяна сидела, Наталья читала, Андрюшка спал, а в коридоре был слышен громкий прощальный разговор, глупые слова, шутки, требовательный бранчивый голос Надежды, скомошошь пеньё усатого: «Ах, Надя, Надя, Надя...» Потом щелкнул замок, все стихло, Надежда заглянула к ним:

– Спать пойдешь? – это дочери.

Наталья, ни слова не отвечая, поднялась из-за стола, небрежным движением подхватила книгу (Андрей Платонов. «В прекрасном и яростном мире») и демонстративно-гордо прошла мимо матери.

– Спокойной ночи, Тань! Спасибо за приют! – сказала Наталья на прощание.

– Ишь, уколоть хочет, – дурашливо покачала головой Надежда. – Мол, в своей комнате жизни нет, а здесь – пожалуйста, всегда приютят. Ведь глупо, Тань?

– Глупо, – коротко согласилась Татьяна, лишь бы поскорей остаться одной.

Но Надежда, кажется, уходит не собиралась; опять приблизилась к кровати Андрюшки, постояла рядом с ним, склонив голову в умилении. И опять, как совсем недавно, опустилась вдруг на колени, гладила его голову, шептала какие-то глупые пустые слова...

«Нет, я ничего не понимаю, – думала Татьяна. – Я сойду с ума. Я больше так не могу...»

И когда в дверь позвонили, резко, требовательно, она буквально бросилась из комнаты, так велико было в ней напряжение: еще немного, казалось ей, и она в самом деле могла сойти с ума.

– Вы будете Мельникова? – В дверях стояла почтальонка.

– Да, я, – кивнула Татьяна. «Господи, что еще», – тут же пронеслось в ней.

– Вам телеграмма. Распишитесь.

Татьяна расписалась; мягко, как будто не торопясь, закрыла дверь; распечатала телеграмму:

*ВЫЛЕТЕЛ СРОЧНУЮ КОМАНДИРОВКУ
БУДУ ДНЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ
АНАТОЛИЙ*

И хотя Татьяна знала: вряд ли все это правда, ох вряд ли, на душе у нее стало легче; уже потому легче, что теперь было ясно, что ждать Анатолия не нужно, нет смысла, и значит, незачем мучиться, изводить себя напрасными и глупыми мыслями. Что бы ни было – ждать теперь бессмысленно. И с этим отчетливым пониманием Татьяна вошла в комнату.

Странное дело, Надежда продолжала стоять на коленях перед кроватью Андрюшки и, кажется, плакала. «О Господи!» – подумала с неожиданным раздражением Татьяна. Только что она ничего не понимала, только что, думалось ей, могла сойти с ума, и вот через несколько минут было совсем другое состояние – разве можно так кривляться в жизни, лить пьяные слезы, ведь это пошло, пошло... как этого не видит Надя, о Господи!

– Я пойду, пойду... – забормотала Надежда, словно услышала внутренний голос Татьяны. – Это я так, Бог знает отчего, просто дура, понимаешь, дура я, и нет никакой любви в жизни, одна ложь, никакой любви...

Надежда, как и мать, попыталась поцеловать Татьяну на прощание, но Татьяна и сейчас счастливо и умело избежала этого, сказала мягко (хотела резче, да не получилось):

– Спокойной ночи, Надя.

– Спокойной ночи, Тань. – И вдруг, как бы желая вмиг отрезветь, помотала головой из стороны в сторону: – Телеграмма? Тебе?

– Да, Анатолий уехал в командировку.

– Понятно... – И в этом «понятно» чудилась то ли усмешка, то ли недоверие.

«Пусть думает что угодно. Все равно. Спать, скорей спать...»

Татьяна и в самом деле почувствовала, как ее потянуло в сон (совсем недавно даже и представить себе такое было невозможно), и, как только Надежда вышла, быстро расстелила постель, сбросила халат и юркнула под одеяло. Засыпая, она еще цеплялась мыслью за только что пережитое, такое унижительное, канувшее в небытие ожидание, но теперь это была только мысль, а не боль, не страдание, не унижение. Потом и это все пропало, истаяло в сонной дымке, и, может быть, последнее, на что еще растревоженно откликнулась душа, была мысль об Андрюшке, о самом родном, близком человеке, о сыне, которого она никому никогда ни за что не отдаст, а вы стройте какие угодно козни, но она его не отдаст, нет, нет, он ее, только ее, этот глупый, умный, родной мальчишка...

II. Даниловы

Утром Надежда проснулась с твердым решением: ехать к Феликсу; встала, правда, разбитая, с ощущением ватности в руках и ногах, но мысль о Феликсе явилась четкой: надо ехать к нему. Натальи не было, ушла в школу, в комнате кавардак, стол завален грязной посудой, обедками, окурками; слава Богу – догадалась на ночь открыть форточку: в осеннем воздухе, лившемся с улицы, чувствовалась легкая звончатость. Последнее время, замечала Надежда, она все на свете старалась с чем-нибудь сравнить, вот как сейчас, когда подумала, что воздух – не просто холодный и осенний, а будто есть в нем какая-то звончатость. В душе она знала, что это не более чем игра, но сознательно шла на нее, как бы подготавливала себя к перемене судьбы. Боже, как ей надоели дни сидений в НИИ, в крохотной комнате на пять сомкнутых между собой столов, за каждым из которых сидело по одной несчастной женщине; за одним столом, правда, восседал их непосредственный начальник, всегда улыбающийся и лоснящийся, как блин, Федор Федорович Круглов, донельзя развративший женщин своего маленького подопечного отдела попустительством, небесно-лазоревым добродушием (опять сравнения, невольно подумала Надежда), глубокими философскими замечаниями: «Что ни делай, а фрезерный станок, бабоньки, на крыльях не полетит...» (их НИИ занимался проблемой усовершенствования фрезерных и строгальных станков). Исходя из своей философии, Федор Федорович разрешал женщинам отлучаться с работы практически в любое время дня, чем те и пользовались без всякого зазрения совести; пользовалась этим, конечно, и Надежда. Иной раз, правда, ее охватывал странный мистический ужас: Господи, думала она, ну провались наш злосчастный отдел (графики и ретуширования) хоть сквозь землю – изменится ли что-нибудь в мире, пусть не в мире, а хотя бы в их НИИ?! И, честно отвечая себе, решала: ничего не изменится. Она видела, как на столе Федора Федоровича изо дня в день росла папка с графиками и чертежами, он ставил решительную резолюцию, после чего папки переключивались на стол к Надежде, официально – замначальника отдела. И вот Надежда, человек с высшим образованием, пять лет проработавшая в политехническом институте, за каких-нибудь десять – пятнадцать минут сверяла чертежи с оригиналами, подчеркивала неувязки и несовпадения, расписывалась и передавала папки Аде. Пышнотелая, флегматичная, с томными глазами, техред Ада, сутью которой были мечты о настоящих мужчинах с Кавказа и за которой, кроме того, водилась страсть навязывать всем мысли о православии и русских самобытных подлинных иконах (в чем, разумеется, они ни бельмеса не разбирались и никогда бы не смогла ответить даже на простейший вопрос: христиане ли католики?), так вот эта Ада полдня, а то и весь день могла не ударить палец о палец, а затем в одну минуту поставленным каллиграфическим почерком намечала карандашом подписи к схемам и рисункам, расписывалась, ставила дату, и папки переключивались к Люсе. Собственно говоря, Люся была единственным практическим работником в отделе (а именно – графиком), она быстро дочерчивала и прочерчивала тушью все, что было нужно, затем закрепляла тушь, протравливала рисунки раствором йода, сушила – и на этом работа отдела кончалась. Люся все делала быстро, всегда торопилась то в магазин, то домой (и туда, и сюда Федор Федорович отпускал ее с легкой душой: у Люси, в общем-то молодой, тридцатилетней женщины, было трое детей, и она вечно куда-то спешила, за собой почти не следила, о мужчинах не говорила, про любовь не вспоминала, голову помыть и сделать прическу и то для нее было целой проблемой), но по сути дела Люся тащила на себе работу отдела, и поэтому ей позволялось и прощалось все. В отделе к тому же числилась еще одна сотрудница – художница Зоя, худая, желчная, вечно брюзжащая женщина, ненавидящая мужчин до спазм в горле; а ненавидела их скорей всего потому, что они ни при каких обстоятельствах не обращали на нее никакого внимания. В отделе подозревали: уж не девственница ли она?.. Вообще-то Зоя при-

надлежала отделу художественного оформления, но практически осуществляла связь между своим отделом и отделом графики, поэтому и сидела у них в комнате.

И вот в таком отделе Надежда работала, в таком отделе день за днем пролетала ее жизнь, – жизнь ли это? Однообразная, жестокая в своей бессмысленной чередой копеечная работа...

Работа, которую Надежда в глубине души ненавидела.

Ненавидела Федора Федоровича. Ненавидела Зою. Не выносила Аду. И только на Люсю смотрела с некоторой оторопью, а иногда и с завистью: трое детей, загнанная как лошадь, а надо же – никогда не жалуется, никакого не клянет, ни о ком не вздыхает и только всегда спешит, спешит, спешит... Честное слово, какая-то загадка.

Надежда перемыла посуду, влажной тряпкой протерла в комнате паркетный, покрытый лаком пол (Феликс постарался когда-то), вытрясла на балконе коврики; включила музыку; села пить густой, свежесваренный чай...

Как хорошо, когда в комнате чисто, музыка, никого нет, а на столе дымится чашка ароматного чая...

Надежда пила чай; набрала номер отдела.

– Федор Федорович? Привет. Что новенького?.. Это хорошо. У меня? Все в порядке. Просто задержусь немного. Да, кое-какие дела. Приеду после обеда. Ну, салют!

«Надо же, и не спросит ничего. Какая деликатность...»

Несколько дней назад Надежда написала заявление – прошу уволить по собственному желанию. В отделе всполошились: как, да что, да почему... Надежда правду никому не объяснила, сказала только, что якобы переходит на работу к мужу, к Феликсу... Прозвучало это довольно убедительно – Феликс заведовал экспериментальной лабораторией на заводе подъемно-транспортного оборудования, и поскольку Надежда, подавая заявление, была как будто расстроена (а как же, переживает, столько лет проработали вместе в отделе, такие все прекрасные, деликатные люди, один Федор Федорович чего стоит, душа человек, сама доброта, о женщинах и говорить не приходится, такие все славные, умные, сердечные...), особых вопросов Надежде не задавали, решили: все успеется. Когда надо – Надежда, родная душа, сама все расскажет...

Но разве могла она сказать им правду? Услышь они, что она задумала, небось не поверили бы ушам своим...

Попив чаю, Надежда быстро собралась, постучала на всякий случай в комнату Татьяны. Там, конечно, никого не было: на работу Татьяна уходила рано, к тому же Андрюшку надо отводить к семи часам в детский сад. Что она хотела спросить у Татьяны? Сама не знала. Просто давило смутное чувство вины перед ней: плела вчера в ее комнате какую-то ахинею, плакала, на коленях стояла... В самом деле, что ли, в киноактрисы готовится? Черт знает что... Стыдно перед девчонкой, ведь Татьяна – совсем молоденькая, девчонка по сравнению с Надеждой, и вот на тебе... отмочила вчера... Вспомнилась к тому же Наталья, и под сердцем заныло тягучей, больней... Как найти с дочерью общий язык? Что-то нежное, хрупкое, неуловимое в их отношениях как будто ускользнуло куда-то во мрак. В их совсем еще недавней близости, чувстве родства, взаимном понимании образовалась трещина, если не пропасть, – и что теперь делать, как исправить положение?

Одно она поняла сегодня утром отчетливо: надо увидаться с Феликсом, поговорить с ним. Дай только, Господи, сил и терпения разговаривать с мужем спокойно, не сбиваться на упреки, не вспоминать прошлые обиды. Просто поговорить, посоветоваться, что делать, как жить дальше...

Дверь ей открыл сам Феликс: у него были до локтей засученные рукава, мокрые ладони, кой-где на руках обсыхала мыльная пена.

– Пеленки стираю, – ответил он на немой вопрос Надежды; при этом улыбнулся, но не виновато и не смущенно, как ей хотелось бы, а спокойно, даже с некоторой гордостью. «Ну-ну», – подумала Надежда насмешливо, а вслух сказала:

– К тебе можно? – как будто не увидела ни мыльной пены на руках и не услышала никаких слов про пеленки. Вообще-то ее подмывало сразу съязвить, сказать что-нибудь вроде: «Как всегда, в няньки записался? Господи, когда только переведутся мужики в юбках...» – но не стала ничего говорить, чтобы не обострять разговор с самого начала. Не затем шла, нет, слава Богу, не затем.

– Могла бы и не спрашивать. Проходи. Я сейчас... – Он показал ей на комнату, а сам нырнул в ванную. Надежда сняла плащ, сапоги. В коридор, на звук голосов, вышла Светлана.

– Ой, тетя Надя! Здравствуйте!

– Привет, Светлячок! – Надежда почти всегда звала так Светлану. – Ну, показывай своего богатыря. Как он?

– Такой беспокойный, целыми ночами кричит... Руки отваливаются, качаю его, качаю...

– Зря к рукам приучаешь. – «Ну зачем я это говорю? О Господи!» – Потом не отвадишь его.

– А что делать? Не спит. Кричит. Пойдемте, покажу его...

Светлана повела Надежду в свою комнату.

– Бабушка как? – почему-то шепотом спросила Надежда, когда проходили мимо закрытой комнаты Евгении Петровны. «Черт знает что, – подумала тут же. – Никогда не могу быть самой собой в этом доме».

– Болеет. – И на вопросительно-удивленный взгляд Надежды добавила: – Простыла. Температуру сбили, сейчас спит...

«Вечно ее угораздит», – с непонятым раздражением – ну почему? – подумала Надежда, а для Светланы сказала:

– У меня сушеная малина есть. Может, принести? Чай с малиной очень помогает...

– Не надо, спасибо. У нас малиновое варенье есть. Только бабушка сейчас ничего не хочет, говорит: оставьте меня в покое.

«Оставьте ее, видите ли, в покое...» – подумала Надежда, сказав:

– Все больные всегда капризничают...

В комнате Светланы в детской кроватке безмятежно и совершенно спокойно спал Ванюшка. Он был не просто запеленут, а завернут в голубой теплый кружевной конверт: виднелся лишь рот да кнопка по-смешному вздернутого носа. Надо сказать, в комнате не только форточка, но и окно были распахнуты («Закаляем», – сказала Светлана), так что смотреть долго не пришлось. Надежда, признаться, не испытывала никакого умиления, вообще никаких чувств, все это было чужое для нее, изначально чужое, и она ничего не могла поделать с собой, однако она хорошо знала, что промолчать в такой ситуации – верх оскорбления для любой матери, и поэтому как можно искренней, теплей сказала:

– Знаешь, Светлячок, а он заметно подрос...

– Правда? – обрадовалась Светлана.

– И лицо стало... осмысленное... как у взрослого...

Ванюшке шел четвертый месяц, и, наверное, недели три-три с половиной Надежда не видела его; стало быть, ничего удивительного, что он подрос и что лицо изменилось, – так и было на самом деле: выходит, Надежда как будто и не лгала.

– Я когда кормлю его, глупыша, знаете, тетя Надя, он чмокает и так серьезно, строго смотрит на меня... – улыбалась Светлана, почти счастливая от слов Надежды. – Я говорю: глупыш, ну, чего так смотришь на маму, боишься, что грудь отберу, да? Не бойся, дурачок, ешь, пока хочется, вон у меня молока сколько, так и бежит, так и катится...

Рассказывая, Светлана показывала на халат: действительно, то здесь, то там явственно различались струйки-дорожки сочащегося в избытке молока. Надежда окинула Светлану внимательным, потайным взглядом: сколько света, счастья, неподдельной радости исходило от нее, и вся она – всегда такая милая, хорошенькая, приветливая – еще больше расцвела, хотя, казалось бы, как можно стать краше, чем она была? Но она стала, стала краше, и это отдавалось в сердце Надежды невольной завистью, похожей даже на боль...

Они пришли на кухню, и Светлана на правах хозяйки сразу поставила на газовую плиту чайник.

– Ой, Светлячок, я ничего не хочу. Только что из-за стола, – стала отказываться Надежда.

– Но как же? – удивилась Светлана. – Нет, так нельзя...

У нас, кстати, от вчерашнего торт остался. «Прага». Хоть кусочек попробуете, тетя Надя... такая вкуснятина!

– А что вчера было?

– Три с половиной месяца Ванюше исполнилось. Ой, представляете, три с половиной уже! Поверить не могу.

– погоди, Светлячок, оглянуться не успеешь – ему три года стукнет...

На кухню, держа в руках таз, в котором ворохом лежало детское белье, вошел Феликс.

– Чайник поставили? Молодцы, – улыбнулся он улыбкой человека, который только что закончил хорошее полезное дело.

– Папа, дай я развешу, – взялась за тазик Светлана.

– Нет уж, позвольте-ка сделать это мне! – Надежда решительно забрала у Феликса тазик – она терпеть не могла, когда Феликс занимался женской работой, порой просто ненавидела его за это. Почему? Ведь знала, что он делает все искренне, то ли нравится ему, то ли исконная внутренняя привычка – помогать всем, кому тяжело в данную минуту, – знала, а ничего поделаться с собой не могла, воспринимала как некий укор не только ей одной, а всем женщинам, которые сами не могут или не умеют справиться с делами.

Надежда взобралась на табуретку, тазик поставила на холодильник – чтоб был повыше, брала пеленку, или распашонку, или простынку, крепко, почти зло встряхивала их, потом вешала на веревку над газовой плитой, закрепляя белье прищепками.

Заплакал Ванюшка; Феликс было рванулся из кухни, но Светлана опередила его:

– Па, ну чего ты? Я сама...

– А-а, ну да, да. – Плач Ванюшки Феликс переносил тяжелей всех: стыдно признаться, но у него как будто сердце обрывалось, когда он слышал его жалобный слезный голос.

«Ну, а как же: дедушка, – ядовито усмехнулась про себя Надежда. – Дедушка! Господи! Ну и чему тут радоваться? Чем гордиться? Чего с ума сходить?..»

Надежда развесила белье, а Феликс, пока из комнаты доносился плач Ванюшки, не находил себе места, то сядет, то встанет, и как же остро, ощутимо остро, до боли в сердце ненавидела его в эти секунды Надежда!

– Между прочим, – сказала она, – я ушла с работы. – Она знала: уж этим-то она обязательно примет его.

Но Феликс откликнулся на ее слова не сразу, как бы не совсем понял их, а когда понял, уловил смысл, то и в самом деле разволновался, верней – взъярился:

– Ты что, с ума сошла?!

– А что? Сказала, что перехожу к тебе в лабораторию. Под твое начало.

Несколько секунд он смотрел на нее молча.

– Мне бездельницы не нужны.

– Ну ты! – отпарировала она зло. – Кандидат каких-то там непонятных наук. Ты не очень-то! – И тут же пожалела о сказанном: «Ну зачем опять? Господи, какая дура. Просто беспробудная, Господи...»

Взгляды их скрестились, как шпаги; но Феликс всегда был сдержанней Надежды, он понял – что-то с ней не то, простил ей ее слова, спросил как можно ровней:

– Что случилось?

– Ничего. Просто написала заявление. По собственному желанию.

– Почему?

– Потому что надоело быть бездельницей, как ты правильно заметил. Вот так уж съта. По горло. Под самую завязку! – Она резанула ребром ладони по шее.

– А если серьезно?

– Разве тебя когда-нибудь интересовала моя жизнь всерьез? – А про себя подумала: «Ну вот, опять завожусь... Нет, так и помру душой...»

– Всегда интересовала, – ответил Феликс.

– Всегда тебя интересовала только твоя жизнь. Жизнь родной мамочки. Жизнь Светланы.

А теперь еще – внука. А наша с Наташей жизнь для тебя никогда ничего не значила.

– Еще что скажешь?

– А то и скажу, что где-то ты хорош, а где-то тебя днем с огнем не сыщешь!

– Мы развелись, и ты сама в этом виновата.

– А в чем виновата Наташа?

– Она – ни в чем. Ей просто не повезло, что у нее такая мать.

– Зато повезло с отцом.

– Чего ты от меня хочешь?! – спросил он резко, в упор; ему надоело это фехтование словами.

Господи, если бы когда-нибудь она смогла ответить на этот вопрос! Если бы когда-нибудь ей дали возможность ответить на предельной искренности, глубоко, прямо! Впрочем, кто не дает ей такой возможности? Просто она не в силах ответить на элементарный вопрос: чего она хочет от него?! Не в силах! Она хотела его самого, всего, со всеми его слабостями и достоинствами, чтобы он принадлежал только ей, ей безраздельно, не могла она делить его с кем-то, делить и знать, что ей принадлежит только одна какая-то, ничтожная часть этого человека, она не рассчитала свои силы, вышла замуж за человека, у которого была семилетняя дочь, у которого глубоко в сердце свило себе гнездо глубокое горе: умерла первая жена, о нет, Надежда не жалела его, нет, она вышла замуж за него не из жалости, она любила его, как трудно было даже представить, что так можно любить на свете, но она не рассчитала свои силы, у него осталась мать, осталась дочь, он рвался между ними – между любимыми, а она тогда еще не знала, что это такое – когда любимый принадлежит тебе не весь, когда он рвется на части, она не думала, что любовь любимого к другим – это страшная казнь, потому что в какой-то момент ты осознаешь: ты – не весь мир для него, ты – не начало и не конец его жизни, ты – это ты, не больше, а тебе хочется большего, тебе хочется, чтобы никого, кроме тебя, не было для него на свете... Никого!

Так чего же она хочет от него?!

Именно этого – его самого. Целиком. Безраздельно. Но как раз это-то и невозможно на свете.

– Неужели между нами все кончено? – после долгой паузы удрученно спросила Надежда.

– У нас есть Наташа.

– Да, Наташа... – Она чувствовала, как незаметно начинают подбираться к глазам слезы, но сдержала себя, пересилила. – Кстати, я пришла к тебе поговорить о Наталье.

– Что случилось?

– Она стала невозможной. Грубит. Забросила учебу. Уходит из дома...

– Ты сама в этом виновата. Перестань водить в дом компании. Возьми себя в руки.

– А ты?

– Что – я?

– Ты ни в чем не виноват?

– Я бы с удовольствием забрал ее у тебя. К сожалению, это невозможно...

– Ты бы с удовольствием лишил меня всего и заточил в тюремную камеру. В одиночку.

Или бросил на съедение крокодилам...

– У меня никогда не было такой богатой фантазии, как у тебя.

– Спасибо за комплимент.

– Пожалуйста.

Господи, о чем они говорят? Как выбраться из этого заколдованного круга взаимных подковырок и упреков, пустых, обидных, унижительных препирательств? Когда, почему случилось это? С чего началось? Ведь любили когда-то, как еще любили друг друга...

Вошла Светлана.

– Папа, чайник вовсю кипит, а вы сидите...

– Правда, – удивленно проговорил Феликс. Чайник не просто кипел – он всю кухню наполнил паром, даже окна отпотели. Надо же, ничего не замечали, пока разговаривали. – Сейчас, сейчас, – засуетился Феликс.

– Ладно уж, я сама заварю, – улыбнулась Светлана. – Сидите разговаривайте...

– Очень жаль, Светлячок, – вздохнула Надежда, – но мне уже некогда. Я ведь с работы отпросилась, всего на час. Надо идти.

– А как же торт, тетя Надя? Это «тетя Надя» всегда резало слух Надежде, особенно когда Светлана выросла. Тринадцать лет разницы – двадцать три и тридцать шесть, – ну какая она для Светланы «тетя»? И все-таки иначе Светлана никогда не называла ее, даже в лучшие дни и годы.

– В другой раз, Светлячок. – Надежда поднялась из-за стола. – Как-нибудь загляну вечером. Вместе с Натальей. Посидим, поговорим.

– Только обязательно, тетя Надя! И Владик будет дома. – (Владик – это муж Светланы, студент; сейчас он был в институте.)

– Договорились. Ну, до свиданья! – Надежда поцеловала Светлану в щеку. Взглянула вопросительно на Феликса.

– Пойдем, я провожу тебя. – Феликс поднялся со стула.

Проводил, естественно, только до двери. «Большого, конечно, не заслуживаю...» – подумала Надежда с горькой усмешкой. Снова взглянула на него – стояли у распахнутой двери, оба чувствовали неловкость прощальной минуты.

– К нам решил совсем не заходить?

– У тебя плохая память. Я бываю у вас каждую неделю. Не меньше двух раз.

– На прошлой неделе не был ни разу.

– Мама приболела.

– Понятно. Передавай ей привет! – Она насмешливо – специально насмешливо – улыбнулась. – Ну, бывший муженек, до свиданья, что ли?!

– До свиданья, Надя.

– Ого! В первый раз сегодня назвал по имени.

– Разве? Извини. Грубею.

– То-то! – Она улыбнулась – легко, широко, свободно, улыбкой женщины, которая не знает ни горечи, ни обид, ни поражений. Впрочем, вряд ли удалось обмануть Феликса – уж кого-кого, а ее-то он изучил за годы совместной жизни.

Дверь закрылась, Надежда сделала первый шаг по лестнице, лицо ее исказилось от внезапной гримасы, и крупные частые слезы покатались из глаз. Вышла на улицу – слезы побежали еще сильнее...

Горькая обида давила ей сердце. Такая тяжесть на душе, такая безысходная тоска... И слезы... Сколько в них было сладости, праведности, как они омывали душу жалостью к самой себе: они терзали и мучали, но в них одних было сейчас утешение и успокоение...

Она шла по улице, плакала, никого не стесняясь и ничего не замечая... Феликс... Он всегда внушал ей мысль, что она сама во всем виновата, но она не умела, не хотела признать себя виновной. Виновата, что любила? Но разве бывает такая вина? Верней, разве справедлива расплата за то, что ты любила человека безмерно, без оглядки, как слепая, почти как сумасшедшая? Поначалу все было хорошо, он, она, его маленькая дочь, его стареющая больная мать... Все были вежливы, предупредительны, сама деликатность, сама воспитанность. И Надежда (ей было тогда двадцать лет!), так боявшаяся его семьи, его матери, его дочери, почувствовала: она родная здесь, ее приняли как самого близкого человека, Светлана – Светлячок – тянулась к ней, и не потому что забыла мать (как она могла забыть ее, ведь ей было тогда семь лет!), тянулась просто из естества своей природы, из дружеского расположения ко всем людям, особенно к тем, которых любил отец и которые любили его, тут не было никакого оптического обмана, все искренне, все правдиво, и Надежда чувствовала счастливую, даже несколько тревожащую душу благодарность Светлане за ее детское приятие, за непосредственность, за ласковый неподдельный щебет.

А Евгения Петровна? С ней тоже все обстояло нормально, во всяком случае, Надежда не испытывала никакой вражды с ее стороны, хотя, надо сказать, матери Феликса было нелегко; она искренне любила первую жену сына, переживала ее смерть так, что не раз сваливалась в постель – подводило больное сердце, однако жизнь есть жизнь, этим успокаивала и утешала себя Евгения Петровна, и нужно было во что бы то ни стало выкарабкиваться всем вместе из беды – в первую очередь ради Светланки, ну и ради Феликса, конечно, тоже. Разумеется, Евгения Петровна присматривалась к Надежде настороженно, ее пугала молодость новой жены Феликса, она искренне боялась, хотя и не показывала вида, что душой Надежда не совсем созрела, чтобы нести на себе неожиданное бремя матери-мачехи, – так оно и случилось, не нравилось ей и то, что Феликс с Надеждой чересчур влюблены друг в друга (но тут уж ничего не поделаешь), живут будто ослепленные. Эта взаимная ослепленность, считала мать, никогда ни к чему хорошему не приводит. Проходит время, и вдруг открываются глаза на то, кого так искренне боготворишь, – и что потом? – разочарования, обиды, ссоры, боль...

С чего началось у них? С чего – сказать трудно, а вот когда именно – ответить легче. Родилась Наташа – и почти сразу все изменилось, и изменилось не в семье, а в самой Надежде, в ее восприятии жизни, в том, какими глазами стала она смотреть на Феликса, на его дочь, на Евгению Петровну и какими – на свою дочь, на божественное чудо, какое даже и представить себе не могла раньше, не могла подумать, что так это все бывает в действительности – что-то самое родное, близкое, любимое, необыкновенное, чем все на свете должны восхищаться и восторгаться. Впрочем, так все и было, разве кто-нибудь не восторгался, не говорил Надежде самых лестных, самых добрых слов? Их, может быть, говорили даже чересчур много, хотя Надежда этого не замечала, для нее казалось естественным – ее дочь просто чудо, посмотрите, какие у нее глаза, нос, какие кудряшки завиваются на затылке, а какие пухленькие ноги, какие тонкие пальчики, как симпатично она зеваает, как жадно берет грудь, как потешно пыхтит... Кто не знает, впрочем, всех этих умилений матери ребенком? В этом-то, случается, и драма, как вот, например, с Надеждой... Вдруг в сердце ее – непонятно как, откуда, почему – проснулась ревность... Да какая ревность! Надежда не могла спокойно видеть, как Феликс, скажем, ласкает Светлану (улыбаясь, гладит ее волосы), когда Надежда кормит грудью Наташку... Или не выносила, если Светлана ластилась к отцу, в то время как рядом, в детской кроватке, так мило и забавно – разве они не видят? – сучит ножками Наташа. Почти с ненавистью наблюдала Надежда и за Евгенией Петровной, когда та, к примеру, в хорошем веселом настроении, прибираясь в квартире, не один раз проходила мимо стола, на котором Надежда пеленала дочь,

но ни разу не остановилась, не сказала: ой, какая красивая у нас девочка, какая умница, как выросла за последнее время!.. Все знаки внимания, которые, как обычно, оказывали друг другу Феликс, Светлана и Евгения Петровна, вдруг стали ненавистны Надежде, воспринимались ею как личное оскорбление. Поначалу Надежда пугалась собственных чувств, внутреннего раздражения, укоряла себя за глупость, за нелепость несправедливых мыслей, испытывала в душе растерянность, а то и искреннее раскаяние, но со временем Бог знает куда исчезла эта внутренняя борьба, истаяла, улетучилась, будто и не было ее там никогда. Надежда напоминала нахохлившуюся птицу, которая, даже когда ее не обижали, а наоборот – подходили погладить, приласкать, вдруг еще больше цепенела, как будто изначально не верила в человеческую доброту, раз и навсегда разуверившись в ее естестве и наличии.

Случилось то, чего так боялась Евгения Петровна: между Светланой и маленькой Наташей встала, как пропасть, эгоистичная материнская любовь Надежды к своей дочери.

Ну, и начались, конечно, первые ссоры, первые недоразумения...

А кончилось все вот этим – полным крахом.

...Она шла, плакала от всех этих мыслей и воспоминаний и наконец устала от слез, от бесконечного душевного самоистязания; остановилась, вынула платок из кожаной, с плетеными ремешками сумки – подарка Феликса на Восьмое марта, горько усмехнулась, вытерла глаза; тут кстати оказалась скамейка. Надежда присела на краешек, достала зеркальце, тушь, кисточку, тени, привела в порядок ресницы и веки. Улыбнулась. Странно, она вдруг сама понравилась себе – глубокий, страдающий взгляд, грусть, синие печальные веки, длинные темные ресницы, – Господи, подумала невольно, если бы я была мужиком, разве бы устояла, разве могла бы не влюбиться в такую женщину?.. И, улыбнувшись во второй раз, еще больше понравилась себе, стало на душе вдруг легко и беспричинно весело – сколько раз в жизни удивлялась она этим резким переменам в собственном настроении: то хоть в петлю лезь, а то колокольчиком зазвенишь. И главное – почти в одно и то же время...

Посидела Надежда немного на лавочке, отдохнула, успокоилась, повеселела; если б не на работу, в этот гнусный отдел, может, и совсем легко стало бы на душе. Впрочем, что она переживает, совсем скоро она станет вольной птицей...

Вот что она забыла сказать Феликсу!.. Верней, сказать-то она сказала, что увольняется, но не сказала главного – ради чего, почему это делает. А ведь это, возможно, была тайная пружина, тайная мысль, из-за которых она отправилась к нему. То есть поговорить о Наташе – это да, но тайное-то, тайное... Она хотела как бы ненароком похвалиться перед ним, утереть ему нос, возвыситься над ним...

И что же? Опять, как много раз в жизни, разразилась словесная перепалка, и ведь забыла, забыла сказать, что не просто уходит с работы, а уходит в кино... Да, да! В кино? – удивился бы он и наверняка не поверил бы, ядовито усмехнулся: ну-ну, рехнулась совсем девушка на старости лет, что бы ни делать – лишь бы заливать, как всегда... А ведь это правда – она уходит в кино. Ну, не в актрисы, конечно (хотя актрисы что, из другого теста сделаны или, может, она хуже их сложена, не так привлекательна? Это еще как посмотреть!), но главное и не это сейчас, главное – войти туда, в тот заманчивый мир, заманчивый не просто потому, что – кино, а что – творчество, тут тебе не какой-нибудь замухрыжистый отдел с четырьмя дурами и одним идиотом во главе, здесь – всегда разнообразие, поиск, интересные люди, неожиданные встречи, интеллигентные разговоры, здесь мысль, блеск, новизна, одним словом – настоящая жизнь.

Что может быть привлекательней настоящей жизни? К чему стремятся все люди на земле, со всеми их явными и тайными помыслами? К настоящей жизни!

Конечно, Феликс всегда презирал и презирает компании, которые бывают у нее, считая всех подряд бездельниками и хвастунами. Но разве случилась бы с ней эта значительная перемена в жизни, верней – разве могла бы она случиться, если бы у нее не собирались компании? Однажды Надежда с Зоей возвращались с работы, дорогу им преградили два странных чело-

века – прекрасно, даже изысканно одетые: джинсы, вельвет, замша, кожа, цветастые платки на шее; озорные веселые глаза, легкий юмор, шутки, смех, уверенные движения, но – самое главное – вот это: налет свободы, свободы во всем, что они делали, говорили, как смеялись, как шутили... А странность сцены заключалась в том, что в руках один держал трехлитровую банку, другой – бидон (все – с пивом), и, кривляясь, шутя, но оставаясь неизъяснимо изысканными, как бывает изыскан любой современный модный, уверенный в себе симпатичный нахал, они стали предлагать им выпить вместе – вот прямо сейчас, здесь, на улице. А что? Некрасиво?

У нас просто праздник, у нас гонорар, у нас деньги, девушки, о, у нас большие деньги, у нас даже хватило денег, чтобы купить шесть литров прекрасного пенистого пива, – и потом, мы встретили вас, вы такие симпатичные, умные, такие прямо родные, почти любимые, ну, кто из вас первой пригубит ядреного пивца прямо из банки?

Зоя, конечно, верная своему правилу ненавидеть не только этих нахалов, но вообще всех мужчин без разбору, тут же растворилась в пространстве: «Ты не идешь, нет?» Надежда, смеясь, ничего не отвечала, только радостно качала в отрицании головой, и Зоя растворилась, а Надежда осталась, познакомилась с ними. Оказалось – такие чудесные ребята, «киношники», как их нынче называют. Операторы. И не успели оглянуться, как уже были в гостях у Надежды, пили пиво, потом коньяк, черт знает что, такая вот смесь получилась...

А потом они познакомили ее с режиссером. С Владленом. И как-то Владлен сказал: хочешь в кино? О нет, не актрисой, а просто – работать в кино? Скажем, ассистентом директора, всякое там киношное хозяйство и прочее, хочешь? Она кивнула. Она хотела. Что угодно, только не ужасный этот отдел, где всегда одно и то же. Одно и то же...

Вот об этом обо всем она не рассказала Феликсу. Не успела. Не смогла. Да и трудно было рассказать так, чтобы выглядело все серьезно, хорошо, чтобы он поверил – это не шутка, не блажь, это нужно ей, иначе можно просто задохнуться от бесконечной череды ежедневной пошлости и однообразия...

Ну, а пока... А пока надо идти в НИИ. Хочешь, не хочешь, а денечки отрабатывать надо. Ничего не поделаешь...

Надежда поднялась со скамейки и решительно зашагала на работу.

Было двенадцать часов дня. Ровно полдень.

III. Мельниковы

За Андрюшку Татьяне не беспокоилась – вечером с ним посидит Наташа. Так уж у них повелось: когда надо, она всегда выручала Татьяну; к тому же Наталья была лучшей нянькой на свете, никогда не сюсюкала с Андрюшкой, а вела с ним себя так, будто они одного возраста, верней – будто Андрюшка давно взрослый и разумный. Удивительное дело, с Натальей он именно так себя и чувствовал...

...На опорный пункт они отправились сразу после работы. Их было шесть человек, молодых ребят с ткацкой фабрики, которые раз в неделю участвовали в рейдах оперативного отряда. Другие ребята помогали транспортной милиции – чаще всего на железной дороге, еще часть – занималась шефством над трудными подростками, некоторые специализировались на столовых, магазинах и кафе – помогали ОБХСС. Татьяна перепробовала все, но больше всего ей нравились оперативные рейды – самое живое и интересное дело... Сегодня им предстояло совершить «поход» на чердаки, в подвалы, заброшенные котельные, идущие под снос пустующие дома, где по вечерам собирались подростки тринадцати – шестнадцати лет, курили там, играли в карты, тискались девчонок, дрались из-за них, дрались просто так – в общем, полный букет вольной жизни.

Командовал отрядом (верней, координировал действия милиции и молодежного отряда) старший лейтенант Жиров. Для них, конечно, он был не старший лейтенант, а просто Сер-

гей, даже Сережа. Моложавый, с узкой щеточкой бурорыжих усов, в веснушках, часто улыбающийся, Жиров сначала многим казался таким добрячком, мальчишкой, но, когда он выезжал на задание, облик его менялся, улыбка исчезала с лица, а вместо нее появлялось выражение сосредоточенности и даже угрюмости. И это имело свой смысл, потому что во время рейдов, не всегда безопасных, каждый в отряде должен был помнить об осторожности...

К оперативным рейдам привлек Татьяну именно Жиров, хотя она, наверное, до конца не осознавала этого. О том, что Татьяна замужем и у нее есть ребенок, Жиров хорошо знал, но что поделаешь – она нравилась ему, и он постарался сделать так, чтобы Татьяна чаще участвовала в его рейдах, привыкла к ним; так оно и получилось. Позже Татьяна думала, что она сама полюбила рейды, на самом деле во многом тут виноват был Жиров. За ним вообще водился один «грех» – переманивал Татьяну работать в милицию. Наблюдательный да к тому же еще влюбленный, он заметил, как искренне переживает Татьяна за всякую изломанную ребячью судьбу, а таких судеб проходили перед ними не одна, не две, а десятки... Обозленные, горящие ненавистью глаза ребят, пойманных на каком-нибудь чердаке, их грубые, ни себя, ни других не жалеющие слова и оскорбления, затравленное состояние, когда их припирают к стенке и не остается ничего другого, как признаваться и «раскалываться», а «раскалываться» так не хочется, – все это действовало на Татьяну угнетающе, больше того – она вдруг внутренне становилась на сторону обозленных, огрызающихся «волчат», и стыдно было, что она такая глупая и непоследовательная, черт знает какая каша творится на душе... Надо сказать, она никогда никому не признавалась в своих мыслях, и Жиров, конечно, тут не был исключением, но он-то все подмечал, все чувствовал, инстинктом влюбленного догадывался о мучениях, которые одолевали Татьяну. И поэтому однажды прямо предложил ей: переходи к нам, ну, если не совсем к нам, то в инспекцию по делам несовершеннолетних – там такие, как ты, во как нужны! – и, улыбнувшись, он провел ребром ладони по горлу. Татьяна отмахнулась от его слов, как от шутки... Но предложение это не забыла. Помнила. Помнила, правда, как о чем-то нереальном, несбыточном...

...Осенний вечер настаивался густой, холодный, и, если б не звезды, яркие, крупные, наверное, в метре ничего бы не было видно, такая крошечная тьма опустилась на эти окраинные дома. Машина подъехала тихо, метров за сто от дома выключив фары – чтоб не дай Бог сверху пацаны не смогли разобрать милицейский фургон. Жиров включил рацию, вызвал опорный пункт:

- Чайка, я Орел. Нахожусь в заданном районе. Разрешите начать операцию?
- Орел, вас слышу. Можете начинать. Прием.
- Вас понял, вас понял. Приступаю к заданию.

И в открытую дверцу машины Жиров тихо сказал:

– Так, ребята, как всегда – по двое к каждой чердачной лестнице. Пять человек со мной, в том числе Мельникова. Оставшимся – по одному у подъездов. Гуськов, распорядись сам.

Гуськов – командир молодежного отряда (он был слесарем с той же ткацкой фабрики, что и Татьяна) – быстро распределил людей, и ребята по одному выбрались из машины.

- Так, кто со мной? Пошли! – командовал Жиров. – Мельникова, ты здесь?
- Здесь, здесь, – шепотом ответила Татьяна.

Жиров выбрал средний подъезд. Осторожно поднялись на пятый этаж. А средний он выбрал потому, что считал: самое верное – оказаться сразу в центре чердака, вклиниться в пространство, так что хоть слева, хоть справа – путь для отступления короткий, застать ребят врасплох гораздо легче.

– По одному. За мной! – командовал Жиров и первым полез по лестнице на чердак. – Мельникова, не отставай.

– Да здесь я! – едва ли не раздраженно, но все-таки шепотом отозвалась Татьяна. «Вот уж прилипнет – так не отстанет...» – подумала невольно. По лестнице она забиралась следом за Жировым.

Наверху, перед самым люком, Жиров замер, бросил взгляд вниз: все ли готовы? Можно ли начинать? Большинство не в первый раз участвовали в подобных операциях, ни ругать, ни подгонять никого не пришлось.

– Ну, начинаем, – прошептал Жиров и резко толкнул люк вверх. Видимо, он был чем-то придавлен, потому что открылся не так легко, как на это надеялся Жиров. Несколько дорогих секунд для внезапного появления было утеряно, да что делать... Жиров рванулся на чердак.

В дальнем левом углу сразу бросилась в глаза группа играющих в карты ребят. Самое удивительное («Надо же!» – отметил автоматически Жиров) – играли не при свече, как обычно бывает в таких случаях, нет, – над ними полыхала самая настоящая электрическая лампочка. Но все это мгновение. Вскрик. Свист. Кто-то ударил по лампочке. Посыпалось стекло, и сразу сплошной мрак окутал чердак. «Всем стоять!» – крикнул Жиров, нажав на кнопку фонарика. И вот тут случилось непредвиденное: фонарик не сработал. Хрустел под ногами убегающих гравий, злой шепот, ругань. Правда, думал лихорадочно Жиров, деваться им все равно некуда – все лестницы перекрыты. На беду, второй фонарик оказался только у самого последнего в группе – у замыкающего Гуськова. Пока он забирался наверх, на чердаке становилось – подозрительное дело – все тише и тише. Татьяна шагнула в темноту, пошла на ощупь к тому месту, где только что играли в карты. Кто-то сильно пихнул ее, она упала. Взметнулся яркий сноп света гуськовского фонарика. Жиров бросился к Татьяне: «Что? Что с тобой?» – «Так, ничего, – махнула рукой Татьяна. – Споткнулась». Она хорошо запомнила голос: «Падла-а...» Было больно и обидно. Фонарик шарил по чердаку, метался из стороны в сторону. Как будто вымерло все. Ни шепота, ни звука. Спрятались? «Ну, по одному! – скомандовал Жиров. – Выходи!» Но слова его повисли в воздухе. Когда подошли поближе к пятачку, где шла игра, открылась неожиданная картина: с чердака, оказывается, был еще один лаз – запасной, который вел прямо к пожарной лестнице. Вот этого-то они и не учли! Воспользовавшись темнотой, беглецы спокойно и беспрепятственно спустились по лестнице, расположенной на торце дома, – так что внизу их тоже не увидели. «Ах, черти! – ругался Жиров. – Ну надо же! Как я мог забыть? Ведь на этих домах есть запасной выход!..»

Начали рассматривать место, где велась игра. Посередине возвышался чурбачок, вокруг которого, опрокинутые в спешке, валялись всевозможные ящики, служившие игрокам стульями. Повсюду разбросаны окурки, спички. На чурбачке лежало несколько карт, брошенных в суматохе, – собственного производства.

– А вот свет у них откуда? – вспомнил Жиров.

Взял у Гуськова фонарик, осветил на потолок. На поперечной балке пристроен самый настоящий патрон, из которого торчали рваные, в острых зазубринах осколки лампы. Жиров выхватил светом проводку. Так, провод спускается вниз, лежит прямо на хрустящем гравии. Жиров наклонился, взял проводку в руки и, как на поводке, пошел вслед за шнуром. Шнур вел к одному из чердачных лазов, нырял вниз. Жиров откинул люк – с лестничной площадки ударил в глаза ослепительный свет. Но что больше всего поразило Жирова – шнур тянулся к электрическому щитку. Жиров спустился по лестнице, открыл дверцу распределительного щитка. Так и есть – провод был «вживлен» в общее питание, да так грубо и неумело, что в любую минуту могло быть короткое замыкание, а там и пожар. «Куда жильцы смотрят?» – невольно в раздражении подумал Жиров. На этой чердачной лестничной площадке была только одна квартира. Жиров утопил кнопку звонка. Открыли не сразу, долго вглядывались в глазок, звенели цепочкой, переспрашивали: «Милиция? А что такое? Почему?» – «Откройте», – просил Жиров. Рядом с ним, все с красными повязками на рукавах, стояли ребята из оперативного

отряда, – может, слишком неожиданно все это выглядело для тех, за крохотным глазком? Наконец дверь открылась, но не полностью, а лишь настолько, насколько позволяла длина цепочки.

– В чем дело? Что случилось?

– Простите, вы знаете, что к вашему щитку подключен провод?

– А что сделаешь? Я уж сколько с этим хулиганьем ругалась... «Молчи, говорят, бабка, а то и в ящик сыграть недолго...»

– Вы их знаете? Кто они? – Жиров достал свое удостоверение. – Я из милиции. А это мои помощники...

– Кто их разберет... Одного встречаю иногда в соседнем дворе, а кто он – бог его знает. Облюбовали вот чердак наш, все по вечерам там шастают. А слова им не скажи – сразу грозятся... Уж я сколько жаловалась домоуправу...

– Михаилу Ивановичу?

– Ну да, Ефремову. Говорю: когда же наконец это кончится?

– Мы приехали по сигналу Михаила Ивановича.

– И то слава Богу! Уж и жить здесь боюсь, думаю – ну, когда-нибудь да прикончат старуху.

– Значит, никого из них не знаете?

– Нет, не знаю.

– Ну, спасибо. До свиданья. Живите спокойно – больше они вас беспокоить не будут. – Жиров по опыту знал, что, если чердак «накрывали», туда больше никто не возвращался: искали новые укромные и тихие места.

Дверь закрылась. Жиров с силой выдернул из щита провод. «Черт, проворонили», – сказал он вслух, но так, как будто разговаривал только с самим собой.

Спускались по лестнице хмурые, не разговаривали. Сели в машину.

– Быстро, на танцплощадку! – скомандовал Жиров шоферу.

Машина резко развернулась и теперь уже с ярко зажженными фарами понеслась по городу. Жиров делал вид, что не замечает Татьяну, не помнит о ней. Эх, Жиров, Жиров...

...Домой в этот вечер Татьяна возвращалась поздно. Устала; шла медленно, опустошенная, грустная. Эта грусть наваливалась на нее, когда день был слишком насыщенным, трудным, и всегда хотелось, чтобы кто-то пожалел тебя, приласкал. А дома, знала Татьяна, никто ее не ждал. Анатолия нет, а Андрюшка давно спит. Она остановилась перед домом, взглянула на свое окно – оно было темным. Свет горел только у Надежды да на кухне. «Наверное, Наташка еще не спит, читает...» А у Надежды скорей всего гости, подумала тут же. Нет, Татьяна не осуждала Надежду, просто иной раз уставала от шума и веселья, а иной раз – удивлялась, как это Надежде самой не надоест такая беспокойная, суматошная жизнь. И вдруг Татьяна почувствовала – неохота идти домой, не хочется подниматься по лестнице, не хочется ощущать сиротливость комнаты, потому что там никогда или почти никогда за последнее время не бывает Анатолия: то он на работе, то в командировке, то у родителей. Конечно, Татьяна не только догадывалась, а знала наверняка – Анатолий стал избегать семью, раньше хоть просто пропал – на день, на два, а теперь не бывает дома неделями; попробовала Татьяна как-то сказать об этом его родителям, не пожаловалась, просто обмолвилась – вышло еще хуже: рассвирепел не только Анатолий, но рассердились и родители. Впрочем, удивительного тут ничего нет – они всегда покрывали сына, что бы он ни делал, – история эта тянулась с давних пор, с самой свадьбы, пожалуй. Особенно агрессивна временами бывала мать Анатолия, Эльвира Аркадьевна, а свекор в семейные дела почти не вникал.

Отец Анатолия – Ефим Ефимович Мельников – главный инженер строительного треста, человек занятой, когда-то сделал для Татьяны доброе дело, но она оказалась неблагодарной. Сразу после свадьбы он пристроил семнадцатилетнюю Татьяну в секретарши к своему закадычному другу, директору ткацкой фабрики Трофимчику: и делать особенно ничего не надо,

и зарплата идет, и Трофимчик – начальник, каких еще поискать надо, всегда ровный, спокойный, вежливый. Проработала Татьяна у него меньше года – ушла сначала в декрет, а потом и вовсе не вернулась: не по душе показалось современное холопство. Объяснить же причину своего ухода не могла, особенно не решалась сказать правду Ефиму Ефимовичу – и с тех пор он как бы перестал ее замечать. Кем она работает, как живет, что у них делается в семье, ему было безразлично: один раз он помог – ему отплатили неблагодарностью, – о чем еще может быть разговор?

Другими словами, со стороны родителей Анатолия понимания особенного не было, наоборот – даже некоторая враждебность, и вилась эта веревочка ой из какого еще дальнего далека...

Татьяна вздохнула (сколько можно стоять под окнами собственного дома?) и медленно направилась к подъезду. Открыла дверь, и тут в темноте, как будто клещами, ее с двух сторон схватили за руки...

– Тише, тетя. Спокойно...

«Господи...» – пронеслось в ней, а голос, почувствовала она, пропал вовсе – даже и захотела бы крикнуть, не смогла: сердце летело в пропасть.

– Сумочку. Так. Карманчики. Быстрей...

Сзади, ощутила Татьяна, под левую лопатку, приставили нож.

– Туфли скидывай... ну, живей!

Татьяна сбросила туфли – поспешно, даже как будто с отвращением.

Неожиданно руки отпустили. Чувствовала только холодное дыхание ножа за спиной.

– Плащ скидывай. Ну! Кольцо есть? Снимай кольцо... Серьги?

Татьяна сняла плащ; с трудом стащила с пальца кольцо; отдала серьги.

– Долго еще с мильтонами будешь якшаться?

– Что? – не поняла Татьяна; голос оказался хриплый, осевший, звучал тихо.

– Смотри, по чердакам лазить опасно... шею надрежешь...

И тут ее пронзило: это же те, с чердака... И голоса... как она сразу не сообразила: голоса подростков... Татьяну окатило настоящим страхом, пронизывающим, ледяным – так и покапала по коже волна мурашек. Она знала, в этом возрасте совершаются самые безрассудные преступления, самые жестокие, потому что ни ума, ни осознания тяжести своих действий им не хватает. Все притуплено чувством ложного коллективизма, бравады, циничным хвастовством друг перед другом...

– А чтобы ты лучше поняла... Ну-ка, скидывай... – Нож больно ткнулся под лопатку.

– Что? Что вы? Зачем? – забормотала Татьяна.

– Скидывай, тебе говорят! Ну!

– Да вы что, ребята? – насмерть перепугалась Татьяна. – Я же вас знаю... Вы же... Вас потом...

Где-то наверху громко хлопнули дверью; в подъезде застыла могильная тишина.

– Надо сматываться, – прошептал благоразумный голос.

– Тихо!

И снова – мертвая тишина; только и слышно – прерывистое дыхание Татьяны.

– Про нас скажешь – попробуешь вот это. – Нож больно впился в тело. – Все поняла?

– Поняла, – кивнула Татьяна.

– И по чердакам кончай с мильтонами лазить. Если, конечно, не хочешь...

Чем дальше хотели пригрозить, Татьяна так и не узнала. Кто-то крикнул:

– Сматываемся, ребята! – И все они, как тени, четыре человека, нырнули в щель приоткрытой двери. Были – не были.

Секунду-две Татьяна стояла как в столбняке. Если бы не босые, в одних чулках, ноги, не снятые серьги, кольцо, плащ, она бы, наверное, сама не поверила во все то, что только что

случилось. Как, обокрали в своем доме, прямо в подъезде?! Приставляли нож?! Заставляли раздеваться?! Да что же это такое, откуда, почему?! Она была так потрясена случившимся, что не могла даже заплакать – слезы не шли на глаза, а ведь как, наверное, хорошо было бы сейчас разрыдаться, поплакать всласть, от души...

Пошатываясь от слабости и нервного удара, держась за перила рукой, Татьяна пошла потихоньку по лестнице вверх. Шла, как старуха, с остановками, отдыхая на лестничных площадках; шла, так и не плакала, чувствуя себя почти умалишенной от навалившегося ощущения внутренней обреченности. Обреченности – почему обреченности? Сама не знала, не понимала. Ей было страшно. Нет, не потому, что приставляли нож, не потому, что ограбили, что угрожали; страшно от одиночества, от мысли, насколько она сейчас заброшена и забыта всеми; почему-то думалось, что если бы Анатолий так часто не бросал ее, если бы он всегда был дома, ждал ее, любил, жалел, то никогда бы не могло случиться такого! Никогда! А почему она так думала, этого сама не знала, чувствовала только, что мысль ее верная, справедливая, выстраданная.

На третьем этаже ноги Татьяны не выдержали, будто подкосились, такая в них была слабость и дрожь; она опустилась прямо на цементный пол, сидела неуклюже, больно подогнув ногу, но не обращала на это внимания, смотрела через перила в неведомую точку... И истошно кричала в ней в эти секунды душа, как только и выдерживала, не разрывалась на части! Никогда раньше, сколько бы обид и горя ни приносил ей Анатолий, не испытывала она к нему того, что так захлестнуло ее душу сейчас, а именно – ненависть к нему! Впервые в жизни узнала Татьяна это чувство, неведомое раньше, никогда не отравляющее еще ее сердце, – ненавидела мужа остро, брезгливо, ненавидела и мыслью, и чувством, всем существом своим, от кончиков пальцев до макушки головы. Сколько она обманывала себя, обманутая им, – приказывала себе верить в его ложь, как в правду, лишь бы сохранить видимость пусть и не вполне счастливой, но достаточно пристойной и прочной семьи, страх за себя, за Андрюшку всегда толкал ее к тому, чтобы смиренно, будто в сомнамбулическом состоянии, переносить его ложь, украшая и разряжая ее, как елку игрушками, всяческими оправданиями и иллюзиями; он лгал и чувствовал себя, казалось, нормально, в мире с самим собой, во всяком случае Татьяна никогда не замечала в нем раскаяния и угрызений совести; да, он лгал, а она – именно она – чувствовала стыд и вину за его ложь, будто это не он, а она совершала гадкое, низкое и подлое, – и, наверное, догадывалась она теперь, так оно и было в действительности, потому что не в его лжи пряталась загадка и отгадка их жизни, а в Татьянинном потворстве лицемерию, предательству и обману. Как она ненавидела его сейчас, потому что прежде всего ненавидела теперь себя! Разве не знала, не знает и не догадывается она, например, что Анатолий ни в какой не командировке, хотя и прислал телеграмму (обнаглел до того, что даже такой способ считает вполне подходящим), а что просто живет все эти дни у какой-нибудь очередной «любви», а когда она ему надоест, или просто пресытятся оба, или, на худой конец, вдруг соскучится по Андрюшке, или, что тоже бывает, захочется домашнего покоя, чистоты и уюта – полежать на диване, почитать газету, поесть вкусных Татьянинных шей, замкнуться в себе, отдохнуть, как говорится, душой и телом от собственной раздвоенной, наверняка изнуряющей, иссушающей сердце жизни, – вот тогда он вернется, позвонит в дверь, бесстыдно бесстрашными праведными глазами посмотрит на Татьяну, улыбнется, даже, может быть, пошутит, потом подхватит на руки Андрюшку и так далее, и так далее... С ума сойти можно от этой лжи и игры, а ведь Татьяна не сходила с ума, терпела, да что терпела – все забывала, прощала, искренне радовалась, потому что вернулся... Вернулся – вот что главное, вот счастье для семьи!

А теперь ей открылось: есть какая-то внутренняя, глубокая связь между тем, что ее только что ограбили, раздели, и тем, что в доме, в семье никогда нет хозяина, защитника, что вместо правды в их отношениях – ложь и лицемерие, что она, Татьяна, сейчас здесь, на лестнице, а он, Анатолий, где-нибудь с другой женщиной, может быть, даже в постели...

Но почему все это? За что? И отчего именно ей, Татьяне, досталась такая доля?

Ответить на все это было невозможно. Вся жизнь ее и есть ответ на это. Вся жизнь...

Татьяна с трудом встала и подошла к двери. Ключи остались в сумочке, сумку забрали; Татьяна нажала на звонок.

Открыла Надежда: хитрая многообещающая улыбка так и плавала на ее лице. Увидев Татьяну, Надежда вдруг поднесла ладошку ко рту и приснула.

– Смешно, да? – невесело покачала головой Татьяна. – Ох как смешно... прямо умереть можно.

– Танька, ты что... ты что, набралась? С кем-то ты пьешь, а со мной... Ой, умора, Танька напилась! – Надежда смеялась, но глаза ее сияли восхищением – так ей нравился сейчас Танькин вид.

Вяло махнув рукой, Татьяна перешагнула порог, но дальше идти сил не было: плюхнулась на стул в коридоре. Закрыла глаза.

Скрипнула кухонная дверь, в коридор выглянула Наталья.

– Ой, Тань, ты чего это? Что с тобой?

Татьяна открыла глаза. Взглянула на Наталью, которая показалась сейчас будто уменьшенной, далекой, как в тумане.

– Напилась, – ответила Татьяна.

– Ну, брось! – не поверила Наталья. – А туфли где? Плащ?

– А, пропила, – сказала Татьяна и снова закрыла глаза, запрокинув голову на спинку стула. – Андрюшка спит? – спросила у Натальи.

– Спит.

– Ой, номер! – улыбнулась Надежда. – Танька напилась! Да ты что одна-то? Пришла б домой, вместе бы и выпили...

– Тань, не ври! – строго, отчужденно и задумчиво проговорила Наталья. – Ну чего ты врешь? Я же вижу – ты трезвая.

Татьяна опять открыла глаза. Она любила Наталью, но почему-то сейчас хотелось, чтобы Наталья поверила, что она пьяная.

– Пойдем, пойдем, – потянула ее за собой Надежда в свою комнату. – Эх, Танька, Танька, давно бы так, а то смотри-ка... туфли потеряла, плащ потеряла... А сумка? Где твоя сумка? – Татьяна неопределенно пожала плечами, и Надежда расхохоталась еще веселей: – И сумку потеряла? Ох, Танька, Танька, ну, загуляла, девка, ну даешь... А правильно! Все правильно. Пропали она к чертям собачьим, наша гордость, наша жадность! Тьфу!..

Наталья смотрела им вслед, ничего не понимая.

В комнате у Надежды ревели музыка, на столе, как всегда, окурки, недоеденные закуски, пятна на скатерти. Но гостей не было: видно, ушли уже или просто разогнала всех Наталья.

Татьяна села в кресло; какое мягкое, уютное кресло, подумала неожиданно, радуясь этой мысли, словно была блаженной, что ли. Она как бы не могла сейчас думать ни о чем серьезном и глубоком, только о чем-то таком, что рядом, на поверхности, что не просится ни в раздумья, ни в печаль.

Она знала, вот она сидит, смотрит, слушает, но ничего не воспринимала, а тело ее будто растворялось в желанном покое, слабости и умиротворении.

– Ты не поверишь, – слышала она и не слышала голос Надежды, – я сказала им – ухожу, все, надоело в вашей дыре жизнь гробить, она у меня одна-разъединственная, как все всполошились!.. А я им еще главного не сказала – что в кино ухожу, пускай не в артистки, это меня не волнует, главное – там жизнь, что-то настоящее, даже Феликсу забыла сказать, а уж он бы удивился... не поверил бы, что ты!.. Представляешь?!

Надежда заглянула Татьяне в самые глаза, потому что Татьяна никак не реагировала на ее слова. Теперь-то Татьяна сообразила – Надежда обращается к ней – и кивнула.

А потом опять она сидела, слушала, кивала, ничего не понимая, не вникая в смысл слов, думала: вот как это бывает... ничего не пойму...

– Но я забуду его, забуду, – продолжала Надежда, – просто гордыню свою бабскую не могу сломить, ну что он мне, мой проклятый Феликс? Еще неизвестно, какая я стану, и не в кино дело, кино – тьфу, просто жизнь будет другая, осмысленная, он еще поймет, пожалеет, от кого он ушел, еще в ноги мне будет кланяться...

– Передай мне телефон, – попросила Татьяна; она сидела так хорошо, так уютно в кресле, не хотелось ни двигаться, ни шевелиться.

– Телефон? – осеклась Надежда на полуслове. Осеклась, удивилась. – На, конечно, пожалуйста... – И протянула аппарат.

Татьяна медленно, замороженно улыбаясь так, будто хочет вот-вот заплакать, набрала номер.

– Жиров? Это я, Татьяна. Мельникова.

Он что-то там ответил (Надежда смотрела на Татьяну во все глаза: Жиров? Какой еще Жиров? Вот так да-а...), Татьяна не слушала его.

– Жиров, – продолжала она, – меня ограбили.

Опять что-то там рокотало в трубке, а Татьяна говорила свое:

– Меня ограбили, Жиров. У меня забрали все-все. Туфли, плащ, сумку, серьги, кольцо. Меня ограбили, Жиров. Ты это понимаешь? Я не пьяная, нет... Я не хочу спать. Я хочу плакать, понимаешь, Жиров?

Он что-то спрашивал, даже как будто сердился, а она, готовая в любую секунду расплакаться, все повторяла:

– Жиров, меня ограбили. Вот что со мной сделали, Жиров... Меня ограбили... оскорбили...

IV. Даниловы

В школу Наталья не пошла. Все было как всегда: позавтракала, собрала учебники, тетради, выбежала на улицу... и что-то как будто перевернулось в ней. Осень; летят листья; из-за домов малиновым полукругом подымается солнце; шуршат по асфальту шины машин... Беспричинная тоска, которая все чаще и чаще стала случаться с Натальей, вновь охватила ее, навалилась не тяжело, а смутно, тревожаще... Почувствовалось: хочется сделать что-нибудь такое, чтобы разом изменить всю жизнь, должна же она наконец стать понятней, чище, лучше, и в то же время, знала Наталья, ничего такого сделать она не могла, оттого и тоска наваливалась, брала за сердце грусть... Как ей противно и стыдно было иной раз сидеть в школе и делать вид, что слушает о какой-нибудь физике, химии, а думать совсем о другом – о жизни, которую невозможно понять, хотя с виду она такая простая, близкая, но совсем непонятная и далеко не хорошая. И не мысли, а мечты взывали к другой жизни, понятной, сердечной, не запутанной, полной взаимной любви или хотя бы уважения, да – не мысли, а мечты. Потому что мысли оставались трезвые и холодные, несмотря на ее возраст, несмотря на то, что она девочка, – эти мысли отравляли ей жизнь, а мечты хотели примирить и примирили с жизнью или, во всяком случае, возвышались над ней. Скорей всего, глупым, а еще точнее – неопытным было только ее сердце, а мысли, хоть ни один взрослый, наверно, не поверил бы в это, были глубокие и зрелые, стремились к тому, чтобы быть таковыми, и от этого странного сочетания – неопытного сердца и самостоятельных серьезных размышлений – шла вся ее мука, боль, стыд и растерянность. Пожалуй, больше всего было последнего – стыда и растерянности, самое главное – растерянности.

Растерянность – вот что такое ее нынешняя жизнь.

Наталья подошла к телефонной будке, повесила портфель на настенный крючок; постояла, подумала, решаясь и не решаясь позвонить. Наконец набрала нужный номер.

– Да, – ответил отец. Наталья молчала. – Да! Данилов слушает! – В голосе отца зазвучали нотки нетерпения и неудовольствия – отрывают от работы.

– Папа, это я. Здравствуй.

– А, Мышонок, это ты? Здравствуй! – Как сразу изменился у него голос – стал такой мягкий и нежный. Наталья знала: отец искренен, знала всегда, что он любит ее, любит, может быть, больше Светланы, больше Ванюшки и, уж конечно, больше Надежды.

– Папа... я хочу увидеть тебя... – медленно, очень медленно проговорила Наталья.

– Что-нибудь случилось?

– Нет. Мне просто нужно поговорить с тобой. – И после некоторой паузы: – Я соскучилась по тебе, папа.

– Где ты? Разве ты не в школе?

– Я не пошла в школу!

– Ну, это, конечно, не совсем хорошо... Впрочем, ладно. Ты можешь ко мне приехать в лабораторию?

– Прямо сейчас? Да, конечно. Могу. Я сейчас. Сейчас приеду... – торопливо, глотая слова, обрадованно заговорила Наталья.

– Ну вот и молодец, Мышонок. Жду. – Но трубку не положил, ждал, не скажет ли она еще что-нибудь. – Эй, Мышонок, ты слышишь меня? – Он с детства называл ее так – сначала Наташонок-Мышонок, потом просто – Мышонок.

– Папа, ты меня любишь? – спросила она и еле-еле сдержала себя, чтобы не расплакаться.

– Ну что ты, глупышка. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Что случилось?

– Я сейчас приеду... – прошептала она и повесила трубку.

Но почему-то сразу не поехала; больше того – после разговора, как только вышла из будки, решила: нет, не поеду совсем; и только позже одумалась... Но это – позже, а пока стала опять бесцельно бродить по улицам, сидела на лавках, пробовала построить на портфеле домик из кленовых листьев, все разрушалось, дул ветер, проходили мимо веселые возбужденные люди: молодые ребята (и даже молодые мужчины) пытались заговорить с ней, бросали шуточные реплики – в надежде, что она пошлет им, как шарик за теннисным столом, ответную шутку, она все видела, слышала, понимала, но в глазах ее не было ответа ни на одну шутку, ни на одно заигрывание; потом она опять ходила по улицам и неожиданно вышла к кинотеатру, встала рядом с афишей, смотрела на крупные, тяжелые, шершавые, как бы осмысленные буквы и не могла взять в толк, что тут написано, отошла подальше – «СТАЛКЕР» – вот, оказывается, что... Говорили – такой необыкновенный фильм; может, пойти? Вспомнила: СТАЛКЕР – это смертник, кажется; купила билет, подошла к контролеру и вдруг подумала: зачем в кино? ведь не хочу; ничего не хочу; отошла прочь, задумалась, стояла, стояла, выбросила билет, сначала разорвала его на мелкие кусочки, потом выбросила в урну; не хотела смотреть про смертника, вообще ничего не хотела видеть на экране – там все придумано, и всегда это заметно, видно – то фальшь жизни, то фальшь актерской игры, и совсем невыносима глупая фальшивая солидарность зрителей в чувствах и мыслях, хотя эта солидарность рассыпается в прах, как только вспыхивает свет и каждый уходит в свою реальную жизнь – в свою непростую, запутанную и беспросветную круговерть.

Наталья поняла – больше так не может; хочет видеть отца; поговорить, успокоиться, утешиться... Господи, как она любит его! Просто жить без него не может, а он...

От проходной она позвонила отцу по внутреннему телефону.

– Где ты пропадала? – встревоженно спросил он. – *Я уж* стал беспокоиться... Два часа прошло.

– Разве? Извини, папа...

– Я сейчас спущусь.

– Хорошо. Я здесь, папа. Не беспокойся. Я жду.

Минут через пять появился, показал вахтеру удостоверение, провел за собой Наталью. Вахтер давно знал ее, но всякий раз смотрел настороженно, с явной подозрительностью. Такая уж у него была работа.

Сначала они шли по экспериментальным цехам, где все двигалось, шумело, грохотало, звенело, стучало. Наталью всегда охватывал здесь почти мистический страх; так и казалось, что что-нибудь сейчас сорвется на голову или наедет какая-нибудь тележка. Это был завод подъемно-транспортного оборудования, и здесь, в экспериментальных цехах, испытывалось и проверялось то, что поначалу разрабатывалось в лаборатории отца. И только после сотен испытаний какая-нибудь новая лебедка или – того замысловатей – кран-балка шли на конвейер, внедрялись в основное производство. Наталья никогда не любила технику, не понимала и даже боялась ее, но, может быть, именно поэтому боготворила отца – он был настоящий мужчина, увлеченный своей работой до страсти, и не просто там теоретик, а практик, экспериментатор: после института пришел на завод простым инженером, увлекся изобретениями и усовершенствованиями, попал в экспериментальный цех, потом в лабораторию, защитил кандидатскую диссертацию (кандидат технических наук) и вот уже шесть лет руководил лабораторией. И пока Наталья не побывала на заводе, не увидела отца на работе – впервые это произошло года три-четыре назад, она воспринимала отца как-то совершенно по-другому: всегда он был для нее только домашний, добрый, мягкий, умный, ироничный, смешливый, а тут вдруг она узнала, насколько он может быть жестким, властным, нетерпимым, но все это не самое главное – она увидела, что он, оказывается, такой увлекающийся, такой неистовый в работе, – с тех пор, наверное, и изменилось что-то во взрослеющей душе Натальи: она теперь не просто любила отца, она уважала его – он был человек слова и дела, ума и сердца, а как этого не хватает в жизни (уже тогда Наталья задумывалась над этим)...

Прошли цеха; прошли отделы лаборатории; только собрались заходить в кабинет отца – сбоку вынырнул Сережа Марчик. Марчику отец прощал все – молодой, почти мальчишка, этот парень с руками токаря-виртуоза и головой академика мог выточить любую деталь, но при одном условии: исполнение не слепое, а творческое, возможны, так сказать, коррективы творца Марчика. Отец, улыбаясь, всегда соглашался с ним. Еще одна слабость Марчика – когда видел Наталью в лаборатории, кричал: «Не проходите мимо!» – и без всякого зазрения совести набивался в женихи.

– Феликс Иванович! – закричал Сережа Марчик и на этот раз. – Не проходите мимо! Ах, Наталочка, здравствуй, детка! Ну как, подросла? Я жду, Феликс Иванович, я очень жду! Как только стукнет дочке восемнадцать – сразу сватаюсь. Берете в зятя? Только не режьте хорошего человека ножом, прошу вас...

– Посмотрим, Сережа, посмотрим... – весело отвечал отец. – Вот как подрастет наша невеста, мы у нее сами спросим. Верно, дочка? – Слава Богу, при чужих он никогда не называл ее Мышонком.

Обычно не очень смущающаяся и умеющая дать отпор, если надо, перед Сережей Наталья несколько терялась, даже краснела. Он уязвлял ее своей открытостью и бесшабашностью, нагловатой откровенностью, которая не поймешь: откровенность или, может, просто насмешка? А как тревожна и оскорбительна насмешка для девочки Натальиного возраста...

– А если без шуток, Феликс Иванович, эту шайбу пусть Иванушка-дурачок точит. А я пока Сережа Марчик...

– В чем дело, Сережа Марчик? – в тон ему – то ли шутя, то ли серьезно – спросил отец. И они склонились над чертежом, забыв про Наталью; потом отец опомнился, сказал:

– Ты иди в кабинет, подожди немного, я сейчас...

Пришел он не скоро.

– Извини, – сказал, – работа... Ну, так что такое случилось у тебя?

– Да так, ничего... – Почему-то она стеснялась смотреть отцу в глаза, отводила взгляд в сторону. И вообще – что-то произошло с Натальей за эти минуты, охота откровенничать с отцом как будто пропала совсем.

– Обиделась? – догадался он. – Знаешь, Мышонок, очень странно устроена наша жизнь... Сколько на свете недоразумений только потому, что люди обижаются друг на друга, а обиду свою прячут глубоко внутри... – Он подошел к двери, закрыл на ключ: – Чтобы нам не мешали, – и, потирая руки, сел в кресло; Наталью посадил рядом. – Ну что, обиделась?

– Я не обижаюсь... Я просто так...

– Какие-нибудь нелады с мамой?

– Не в этом дело. Я сама не знаю...

– Тоска?

Она подумала-подумала, что ответить, наконец вздохнула:

– Тоска, папа... Так мне плохо почему-то...

Отец обнял ее, нежно похлопал по плечу:

– Ах, Мышонок ты, Мышонок, вот ты и взрослая уже... Как быстро, незаметно... Хочешь, признаюсь тебе? В твоём возрасте на меня находила такая хандра – хоть в петлю лезь. (Это «хоть в петлю лезь» надолго застряло в сознании Натальи.) И, как видишь, ничего, все прошло – даже не верится, что это было со мной. Тоска – это несоответствие идеала и реальности. Человек преодолевает несоответствие, и хандра исчезает сама собой.

– Тебе хорошо, ты взрослый, умный, ты все-все понимаешь... А я? Я родилась у вас какая-то не такая, меня все время грызет неудовлетворение... Я злюсь на себя, на тебя, на маму... И ничего не могу поделать с собой. Я даже школу возненавидела, не могу больше учиться, не могу слышать голоса учителей... Все опротивело. Все кажется ложью, болтовней, обманом...

– Если бы ты знала, как это мне знакомо! – искренне признался Феликс. – И теперь, когда я взрослый, когда многое понял в жизни, я не сомневаюсь – каждому человеку надо обязательно пройти через эти сомнения. Кто через них не проходит – из того вообще ничего путного не получается.

– Ты серьезно? Нет, ты шутишь... ты просто хочешь успокоить меня...

– Серьезно, Мышонок. О таких вещах нужно говорить только всерьез.

Наталья смотрела на него недоверчивым, внимательным, изучающим взглядом.

– Не веришь? – улыбнулся он.

– Не знаю... Как я могу не верить тебе?

– Вот и умница. – Он поцеловал ее в щеку; как ей была приятна его ласка, его нежный поцелуй: она всегда скучала по отцу (но не всегда показывала, даже не всегда признавалась в этом сама себе), а в последние дни скучала по нему особенно.

– Знаешь, мне все время хочется понять ваши отношения с мамой...

Он взглянул на нее настороженно, быстро, цепко.

– О, Мышонок, – он решил отшутиться, это было видно, – даже боги Олимпа, если бы задумали понять нас, только зря расплескали бы свое божественное время.

– Почему вы всегда – и ты, и мама – отделяетесь от меня то шутками, то приказаниями не совать нос в чужие дела, то еще какой-нибудь тарабарщиной?.. Ведь я ваша дочь! Мне больно...

Феликс несколько смутился; не знал, какую тональность выбрать для дальнейшего разговора; он еще не почувствовал, насколько важна сегодня его искренность для Натальи.

– Понимаешь, ты взрослая, конечно... – медленно проговорил Феликс, нащупывая тропу в дальнейшем разговоре, – но в то же время еще не совсем взрослая... Тебе трудно понять некоторые вещи. Трудно, а может быть, даже невозможно...

– Почему? Человек всегда может понять человека.

Феликс удивленно вскинул на нее глаза.

– Я знаю, ты ушел от нас потому, что мама измучила тебя.

«Она и вправду, – подумал он пораженно, – повзрослела за последнее время...»

– Но ведь многие люди мучают друг друга, – продолжала Наташья, – разве из этого следует, что нужно бросать семью? Ты ушел не только от мамы. Ты ушел от меня. А я так не могу. Не могу. Обо мне никто из вас не подумал... Вы просто эгоисты оба.

«Повзрослела... Да как сильно... Когда? Просмотрел, проморгал...» – думал он, все больше и больше поражаясь ее словам.

– Наташа, – сказал он, – ты стала понимать такие вещи... Я не думал... У меня сложное чувство: либо мы должны говорить действительно серьезно (но это трудно, больно!), либо не говорить совсем.

– Я больше не могу жить одна, только со своими мыслями! Я хочу понять: кто вы, мои родители, – враги мне или друзья? Ты знаешь, я люблю тебя, но, кажется, не только люблю – я начинаю ненавидеть вас! Я не могу жить с этими страшными чувствами – любить и ненавидеть. Помоги мне!

Он вконец растерялся; его Мышонок, малышка, девочка-несмышлениш – и вдруг такие мысли, такие слова... Откуда? Когда накопилось, когда созрело? Он ничего не понимал...

– Ты не права в одном: я никогда не уходил от тебя. Быть вместе – это не значит быть только рядом. Я тоже мучаюсь, мне нелегко, но я думал – ты взрослая, ты понимаешь эти вещи. Я ушел, но мы всегда можем видеться с тобой. Ты можешь приходить к нам, больше того – можешь жить у нас, тебя все любят, никто никогда не обидит. Впрочем, ты сама это знаешь...

– Ничего я не знаю!

– Как? Ты шутишь?

– Да, я знаю, конечно. Но ты понимаешь – я не хочу этого знать! Не хочу! Почему я должна приходить к вам, приспосабливаться к твоим родственникам: я – к ним, а не они – ко мне?! Я что, прокаженная? Или это я виновата, что ты не живешь с нами, бросил меня?! Вы что-то делаете, а мне – вся боль... Но за что?

Он понял – нужно как-то по-другому строить разговор; он старше, опытней, должен взять в руки словесную нить, всегда такую опасную, когда она тянется безнадзорно...

– погоди, Мышонок. Давай говорить спокойно. По порядку...

– Папа, ради бога, не называй меня Мышонком! Ну какой я тебе Мышонок?!

«Вот так да-а...» – в который раз за сегодня удивился он.

– Но ведь тебе всегда нравилось, когда я...

– А сегодня не нравится! Ты не заметил – я выросла, я взрослая? Если тебе так хочется, можешь называть меня Мышью. Даже Крысой. Пожалуйста. Только не Мышонком.

«Нет, она еще ребенок. Слава Богу... А то уж я совсем перепугался. Обижается на такие вещи...» – На сердце у него, кажется, немного отлегло.

– Хорошо. Буду называть тебя просто – Наташа. Договорились?

– Да. – Но не выдержала сурового тона, добавила: – Только не обижайся, папа. Я не хотела тебя обидеть.

– Ну что ты... – улыбнулся он. – Знаешь, действительно, давай поговорим дружески, спокойно. Я попробую – даю тебе слово! – объяснить тебе наши отношения с мамой. Хотя, знаешь ли, те, кто ссорится, не всегда осознают даже сами, из-за чего, почему ссорятся...

– И ты?

– Что – я?

– И ты не осознаешь?

– Нет, я, по-моему, осознаю. Но... может, мне это только кажется?... Впрочем, хорошо, давай начнем по порядку... Но с чего начать? – Он всерьез, надолго задумался, перебирая

в уме разные годы совместной жизни; однако – перебирай не перебирай – именно рождение Наташи и было пробным камнем прочности их семьи. – Все началось с того, что Надежда стала ревновать меня к Светлане, к матери... постепенно это превратилось в настоящую пытку. Муку. И для меня, и для нее...

– Я тоже ревную тебя к Светлане. К бабушке. К Ванюшке.

– Разве? Что-то не замечал.

– Просто я скрытная. Для меня это мучительно – что у тебя есть еще одна семья, которую ты любишь больше нас.

– Это не так.

– Пусть. Но так мне кажется. Наверное, и маме всегда казалось то же самое.

– Я тебе скажу одно: в своей любви человек не должен быть безмерно эгоистичен. Как бы ни сложилась твоя судьба в дальнейшем, я хотел бы пожелать тебе одного: люби людей так, чтобы они чувствовали себя свободными, а не закабаленными. Нельзя любить человека как вещь, нельзя владеть им, превращать в раба своих капризов и настроений, даже в раба чувств, которые кажутся тебе высокими и искренними. Любовь – это не стремление пристегнуть любимого к ошейному ремешку, любовь – это жертвоприношение...

– Ты же не пожертвовал собой ради мамы? – обронила Наталья.

– Ради бога, Наташа, постарайся понять меня, не передергивай мои мысли. Я говорю сейчас, и одновременно думаю, и одновременно даже для самого себя уясню какие-то важные вещи... Выслушай меня. Просто выслушай...

– Извини, папа...

– Ты пойми: любовь – не жертва собой, не жертва одного человека ради другого, а дарение себя любимому. Ты вдумайся! Здесь совершенно иной смысл, может – даже совсем противоположный. Мама любила тебя и меня, но самая тайная, изнуряющая ее и не сознаваемая до конца мечта мамы была не та, чтобы я любил вас (я всегда любил вас!), а чтобы не любил других, не любил Светлану, мать, даже Ванюшку. А я не мог и не могу не любить их, – и начались ссоры, которые поначалу, казалось бы, выглядели вполне оправданными, а потому исправимыми. Любовь – упаси боже, чтобы она была жадностью одного человека на другого, эта жадность съедает не только любимого, но и любящего, она разъедает все, оставляя после себя развалины и труху. Что и случилось с Надеждой...

– А с тобой? Выходит, ты не любил, раз с тобой ничего не случилось?

– Как не случилось? – И, взглянув на дочь, отчетливо подумал: «Нет, это невозможно все объяснить... Слова не помогают, не проясняют смысла, а только утяжеляют, запутывают его...» – Как не случилось?! – повторил он. – Ты же видишь – все развалилось в конце концов...

– Потому что ты разлюбил? Ты разлюбил нас?

– Пойми: я сделал все, чтобы наша семья не распалась. Надежда захотела жить отдельно от моих, в своей комнате, где жила до замужества (мы берегли эту комнату, думая, что когда-нибудь она понадобится тебе... когда ты вырастешь). Хорошо, я согласился. Мы втроем – ты, я и Надежда – перебрались в эту комнату. Разве я роптал? Разве я был против? Хотя жить в коммунальной квартире, с соседями, – это не совсем одно и то же, что жить в отдельной квартире. Слава Богу, соседи нормальные, а таким, как Татьяна, я бы при жизни памятники ставил... Стали жить отдельно от моих, но разве стали жить лучше?

– Возможно, не стоит говорить, но мама стала...

– Я знаю. Я ей говорил. Это черт знает что...

– А вчера они весь вечер просидели с Татьяной.

– Наверное, у Тани что-нибудь случилось?

– Вчера она была просто не в себе... Бог знает какую околесицу несла...

– А Анатолий где?

– Вроде в командировке.

– Вот тоже еще фрукт... Надо же: никогда природе не хватает равновесия и справедливости. Во всякую гармонию подбросит свой испытующий камешек. А ведь у Татьяны есть одно необыкновенное, редкое по нашим временам качество – она настоящая мать. Странное дело: когда я оглядываюсь вокруг, я вижу, что женщины в наше время живут с ощущением, будто жизнь проходит мимо них. Они потеряли способность чувствовать счастье в детях. Это даже не драма, это трагедия современной женщины. Что-то похожее произошло и с нашей мамой. Все ее счастье – в тебе, а она не понимает этого.

– А твое в чем счастье?

– Мое? – Феликс осекся, задумался. – Счастье любого человека – в согласии с самим собой. Вот к этому я и стремлюсь.

Наталья смотрела на отца во все глаза, и чем умней, отчетливей были его слова, тем тоскливей и тяжелей становилось у нее на душе. Почему умные, даже прекрасные мысли не помогают жить человеку? Почему поначалу они как бы удивляют нас, открывают глаза, вызывают радостное внутреннее удивление: вот оно что, оказывается... А потом жизнь продолжается сама по себе, а мысли о жизни остаются сами по себе – нет никакого синтеза, сплава нет, единства. Или это тоже истина мира: жизнь и мысль о ней – вечные враги?

– Знаешь, папа, – сказала Наталья, – я ничего не понимаю. Ничего не хочу. Хочу только одного – ради бога, не обижайся, – чтобы ты вернулся к нам. Больше ничего. Понимаешь, мне больше ничего не надо – только чтобы ты был всегда рядом. Иначе все у меня валится из рук. Наверное, я дура какая-то... У скольких девчонок и ребят из нашего класса родители не живут вместе, а я так не могу... Даже умереть иной раз хочется, такая тоска, папа! Если бы ты знал, какая тоска!

– Я понимаю, – сказал он; Феликс сидел, не глядя на дочь, опустив голову: ему было неловко, стыдно.

– Вернись к нам, папа. Знаешь, мы бы очень хорошо зажили теперь.

– Я не могу, – сказал он. – Даже если бы сильно захотел.

– Почему?

– Потому что... – Он не знал, как сказать об этом. Он понимал, что, какой бы взрослой и умной ни казалась сейчас дочь, все равно это только одна видимость; чтобы понимать какие-то вещи, нужно не просто повзрослеть или поумнеть, нужно, чтобы душа прошла определенные круги ада и рая, для понимания нужна душа, а вовсе не ум, а душа зреет и матерееет в человеке гораздо более сложными путями, чем ум. Ум – крест человека, душа – стропила в небо.

– Ну почему? – в нетерпении переспросила его дочь.

– Честно говоря, мне не хочется говорить. И врать не хочется. Поймешь ли ты, сможешь ли?

– Я все пойму, – самонадеянно подтолкнула его к признанию Наталья.

– Я не могу вернуться, – медленно, как бы проверяя каждое слово на слух, заговорил он, – потому что я... люблю... другую женщину.

– Какую женщину? – легко еще, не понимая ничего, произнесла Наталья. – Ты о чем?

– Ты спросила – и я ответил. Я не могу вернуться. Поздно... Я полюбил другую женщину. – Странное дело, голос его звучал резко, даже зло.

– Но как же... – растерянно прошептала Наталья. – Ты любил первую жену. Потом маму. Теперь кого-то еще... Сколько можно любить? Ты обманываешь меня! Разве можно так много любить?

– Вот это-то и есть то, что тебе трудно понять. Я предупреждал тебя.

– Нет, я понимаю, понимаю... – быстро, как бы опомнившись, заговорила Наталья. – Только одного не пойму: ты обманываешь меня, да? Правильно я поняла?

– Правильно, – махнул Феликс рукой.

Наталья внимательно смотрела на отца, стараясь чуть ли не пронзить его взглядом, добраться до сути его душевного состояния.

– Нет, ты сказал правду, – неожиданно произнесла она. – Я теперь вижу. Когда человек любит, он становится холодным и равнодушным.

– Как это? – удивился Феликс.

– Холодным и равнодушным к тем, кого любил прежде.

– Ну, это еще как сказать, – не согласился он. Не хотел согласиться. – Любовь к одному человеку не исключает любви к другим. Я думаю, это аксиома.

– Папа, ну я пойду? – неожиданно сказала Наталья.

– Как, вот так сразу? – Кажется, он даже обиделся немного.

– Хотя на последние два урока успею. Ты забыл, я ведь еще в школе учусь. – Она говорила это спокойно, ровно, даже несколько снисходительным тоном: надо же, такой взрослый человек, а не понимает простых вещей... Но в душе – в душе все у нее кричало и мучилось! Просто Наталье хотелось как можно скорее остаться одной, подумать, осознать все то, о чем рассказал отец.

– Кстати, о школе... У меня к тебе просьба, Наташа: не огорчай маму, учись хорошо. Она мне сказала по секрету, в последнее время ты забросила учебу.

– Не беспокойся, папа. Все будет хорошо. Знаешь ведь, бывают разные периоды... Ну, я пошла? – Она поднялась и, не дожидаясь, встанет отец или нет, направилась к выходу.

– погоди, там закрыто. – И как только щелкнул замком, в дверь к ним, как будто только того и ждал, влетел Сережа Марчик:

– Нет, Феликс Иванович, я так не играю! Я же вам говорил: точку только на конус! А они?! – И почти без перехода: – А, Наталочка! Уходишь? Учти, ждать больше не могу. Или – или! Когда наконец тебе восемнадцать стукнет, детка?

– Сережа, ты вот что, – сказал Феликс, стараясь не встречаться с ним взглядом, – подожди меня здесь. Сейчас Наташу провожу, и мы поговорим...

– Что, согласились? Отдаете Наталочку за меня?! – Если б он знал, как неуместны были его шуточки-прибауточки сейчас. Но он не знал и продолжал в прежнем тоне: – Кстати, я жених богатый: две пары джинсов и даже – вельветовая куртка. А?!

Феликс проводил Наталью до проходной, поцеловал в щеку.

– Ну, как настроение? – Он слегка коснулся пальцем ее носа. – Не грустишь?

– Нет, папа, уже получше, – соврала Наталья и даже улыбнулась – специально отработанной на такие случаи улыбкой: легкая такая, бодрая, дежурная улыбка счастливого на вид человека. – Ну, пока?

– Пока, Мышонок... Ой, опять сорвалось, – смутился он. – Не обижаешься?

– Да ладно, – махнула она рукой. На все слова ей было совершенно наплевать сейчас – лишь бы поскорей расстаться.

Она пошла от отца, не оглядываясь, а он, немного постояв и поглядев ей вслед, чувствуя смутную досаду на самого себя, в конце концов подумал: без боли невозможно жить, больно – значит, живьем... И, круто развернувшись, быстро зашагал в лабораторию, как бы разом отделил от себя – делового, решительного – всю личную жизнь...

Но отделил ли?!

В школу Наталья так и не пошла. Она бесцельно бродила по улицам города, думая об одном и том же – что она совершенно не знает жизни, не понимает ее и вряд ли когда поймет, и от этого находила временами словно оторопь: она останавливалась где-нибудь посреди тротуара и чувствовала – вот сейчас голова разорвется или же просто-напросто она сойдет с ума. Но ни с ума она не сходила, не разрывалась и голова, а просто приходилось идти куда-то дальше, не зная куда, и думать о чем-то, не зная о чем, и принимать какие-то решения, непо-

нятно какие, и злиться за что-то на себя, неведомо за что. Как понять взрослых? Не легко, не облегченно, не заурядно понять, а – глубоко, истинно, чтоб открылась перед глазами правда?! Как сделать это? Впрочем, возможно ли это? Отец, который любил мать, который когда-то любил свою первую жену – мать Светланы, любит теперь еще одну женщину... Возможно ли это? И если он солгал, то для чего? А если не солгал? Если вправду любит? Но разве можно любить несколько раз? Три раза – разве такое может быть в любви? И самое главное, что нужно понять, но это понять отказывается душа, – что отец больше никогда не вернется к ним, никогда... Как же случилось, отчего, по чьей вине, по чьей страшной прихоти? Впрочем, какая разница по чьей... Главное – не вернется никогда. Это чувствуется. Да, никогда! Сегодня она это поняла. Какие бы причины ни были, они уже не имеют значения сами по себе, – никогда отец не будет жить вместе с ними, вместе с ней, с Наташей, вместе с любимым своим Наташонком-Мышонком... Это невозможно! Это просто трудно пережить... потому что она, какая бы она уже взрослая ни была, еще совсем-совсем маленькая девочка... маленькая, глупая, беззащитная... пойми это, папа!

Пойми!

V. Мельниковы

Откуда она взялась, Татьяна никогда не знала. Одно время, когда взрослела, было у нее желание – докопаться до истины, потом осознала, насколько тщетно все это, и плюнула. Сколько она себя помнила, столько и казалось: она и родилась-то, наверное, в детдоме – так слились в сознании и сама жизнь, и начало ее, и течение, и все загадки и тайны. Позже, когда она поняла, что были, конечно же, и у нее отец с матерью, она никак не могла представить их реальными, существующими, и поэтому к ним у нее не возникало никаких чувств – ни ненависти, ни презрения, ни любви, ни даже тайной тяги – они были что-то бесплотное, эфемерное, а как можно любить или ненавидеть абстракцию? Все дело облегчалось (или усложнялось) еще и тем, что рядом с ней жили такие же, как она, девчонки и ребята, у которых тоже не было родителей, иногда, правда, у некоторых объявлялись родственники, находились даже отцы, матери, так что жизнь в детдоме бок о бок с равными по судьбе сверстниками казалась естественным и родным делом. Отрезвление – или прозрение – находило только тогда, когда они сталкивались с одноклассниками где-нибудь вне стен детдома; странно было – и обидно, и больно – видеть какого-нибудь сытого, лоснящегося самодовольством мальчика, который хвастался: у меня есть мама, у меня есть папа, а у тебя никого нет, бе, бе! По-разному реагировали они на такое, девочки чаще плакали, отворачивались, прятались, а ребята лезли в драку, и, бывало, крепко доставалось «маменькиным и папенькиным сынкам», но все равно... Как бы кто ни защищал себя, в душе у каждого оставалось и недоумение, и злоба, и растерянность: почему, почему, почему мы не такие, как все?!

К Татьяне мысли эти не приходили долго, во всяком случае к восьми годам, когда у нее появилась «мама Нюра», они, кажется, ни разу не мучили и не тревожили ее.

А появилась «мама Нюра» и в самом деле неожиданно.

Однажды после уроков Татьяну вызвала к себе директор детдома Наталья Павловна Токарева. Ну как вызвала? Прозвенел последний звонок, все ринулись в раздевалку, Таня успела накинуть на себя пальто, и тут тетя Даша (Дарья-бессмертная, как прозвали ее в детдоме за глубокую старость), хлопнув себя, сказала:

– Это... Танюха... тебя ж к Наталье Павловне!

– Зачем это? – насторожилась Таня. В детдоме хоть и любили директора, но за строгий и суровый характер немного побаивались.

– Там узнаешь... – И, видя, как сникла Таня, Дарья-бессмертная улыбнулась беззубым ртом: – Иди, иди... не бойся... дело стоящее.

Таня нехотя сняла пальто, повесила на крючок; все на улицу побегут, играть да веселиться, а ей – к Наталье Павловне. Всегда ей почему-то не везет... а главное – зачем она понадобилась директору? Если из-за Лешки Петрова, так пузырек с чернилами пролился ему на брюки сам... Еще из-за чего? Что учиться-то стала хуже? Ну и что? С этим она быстро расправится, вот только поднажмет немного...

– Вот, Танечка, – ласково улыбнулась ей Наталья Павловна в кабинете – такой ласковой Таня никогда ее не видела, – это вот Анна Ивановна, познакомься...

Таня стояла в дверях набычившись, ничего не понимая, боясь подвоха. Буркнула:

– Здравствуйте.

– Завтра суббота, – сказала Наталья Павловна, продолжая улыбаться, – если хочешь – можешь к Анне Ивановне в гости сходить.

– Зачем это? – еще больше набычилась Таня.

– А просто – Анна Ивановна приглашает тебя к себе. Посидеть, чаю попить, поговорить.

– Мне и здесь хорошо. – Таня почувствовала враждебность не только к Анне Ивановне, но и к Наталье Павловне. – Я что, не так что-нибудь делаю?

– Да нет, все хорошо. – Наталья Павловна переглянулась с Анной Ивановной: видите, мол, как нелегко получается. – Чего ты так насупилась-то? Разве мы тебя обижаем?

– Нет, не обижаете. А все равно...

– Ну что ты, Танюша? – ласково улыбнулась Наталья Павловна. – Ведь все хорошо, да? Подойди-ка ко мне. Ну, поближе, смелей...

– Не хочу я никакого чая, – упрямо бормотала Таня и нехотя, мелкими шагами шла к Наталье Павловне, опустив голову.

Надо отдать должное «маме Нюре» – в те минуты у нее хватило ума ничего не говорить, не лезть к Тане ни с ласками, ни с сюсюканьем. А может, она просто не знала, что делать и что сказать, и потому молчала. Кто теперь скажет... Кто теперь знает...

Когда Таня подошла к Наталье Павловне, та вдруг обняла ее, прижала к теплой груди; Таня и опомниться не успела, как густая тяжелая волна странно разнородных чувств опажнула ее, казалось, с ног до головы, – не ведала Танина душа, когда еще вот так родственно нежно обнимали ее. Главное, что сейчас почувствовала Таня, – это протест, чуть ли не негодование, но еще больше благодарность Наталье Павловне, и это двойное состояние мучительно сдавило ей сердце, а глаза завлажнели, но плакать Тане было стыдно, и она напряглась вся (Наталья Павловна ощутила, как на спине у девочки будто выросли легкие крылья, – это напряжинились в протесте худые лопатки) и попыталась отстраниться от Натальи Павловны. Не тут-то было. Наталья Павловна еще крепче обняла Таню, склонилась к самому ее уху, прошептала:

– А знаешь, Танюша, кто такая Анна Ивановна? – и, не дожидаясь ответа, да Таня все равно не сказала бы ничего, сама же и ответила на вопрос: – Она твоя родственница...

После этих слов Наталья Павловна отстранила от себя Таню и испытующе, но по-доброму заглянула ей в глаза.

Таня недоверчиво покосилась на Анну Ивановну. Худая, с какими-то замороженными, рыбьими глазами (они были несколько навывкат, а взгляд – остекленевший, напряженный), с плоским удлинненным лицом, вытянутость которого еще больше подчеркивалась заостренным подбородком, – эта неизвестно откуда взявшаяся родственница не очень-то понравилась Тане. Впрочем, ни за какую родственницу Таня ее не признала, и если взглянула на нее, то просто так, из любопытства и интереса.

– Вот завтра суббота. Можешь пойти к Анне Ивановне, погостить у нее...

– Нет у меня никаких родственников, – нахмурилась Таня. – Вы сами говорили...

– Не было, – поправила Таню Наталья Павловна. – Не было, а сейчас нашлись. Знаешь, это хорошо, когда у человека находятся родные.

– Ладно. Пусть, – безразлично согласилась Таня.

- Что пусть? – не поняла Наталья Павловна.
 - Пусть будет родственница, – буркнула Таня.
 - Не пусть, а это очень хорошо, когда на свете находится родной человек. Вы должны подружиться, Таня. Ты меня слышишь?
 - Подрожимся, – вяло ответила Таня. И вдруг, повернувшись вполборота к Анне Ивановне, спросила так, как будто выстрелила: – Вы шить умеете?
 - Умею... Немного. – Голос Анны Ивановны прозвучал хрипло, затравленно: видно, она тоже переволновалась немало.
 - А-а... – словно разочаровавшись, протянула Таня. (В глубине души она надеялась, как признавалась позже, что «мама Нюра» не то что шить, а вообще делать ничего не умеет.)
 - А что? – поинтересовалась Наталья Павловна. – Почему ты спросила?
 - Так просто.
 - Нет, раз ты спросила, значит, не так просто. – Наталья Павловна несколько забыла свою миссию – быть мягкой сегодня, доброй, и в голосе ее зазвучали привычные для детдомовских ребят металлические нотки.
 - Вы же нас не пускаете в швейную мастерскую?
 - Рано еще! – продолжала Наталья Павловна прежним тоном. – Машинки сломаете – как жить дальше будем? – Тут наконец она опомнилась, нахмурилась, недовольная собой, спросила помягче: – Значит, ты хочешь научиться шить?
 - У меня у Даши передник порвался.
 - Даша – это кукла, да? – спросила осторожно Анна Ивановна.
 - Кукла, – снисходительно ответила Таня. – Двоечница моя.
 - Двоечница? – удивились женщины.
 - Она за партой сидит, все время ерзает, вертится. Второй передник порвала. А что Александра Александровна говорит – никогда не слышит.
 - Александра Александровна – это их учительница, – пояснила Наталья Павловна.
 - Так придешь завтра? – спросила Анна Ивановна. – Приходи вместе с Дашей. Передник сошьем.
 - А вы кроить умеете?
 - Умею. Немного.
 - Ладно, спрошу у Даши. Как она... Наталья Павловна, можно мне идти?
 - Конечно, конечно. Иди играй...
- ...Только через много лет осознает и поймет Таня до конца эту первую встречу с «мамой Нюрой». Узнает, отчего и почему появилась в детдоме неожиданная ее «родственница», которая в действительности никакой родственницей не была, а была, как и сама Татьяна, круглой сиротой-горемыкой. Но если Таня оказалась сиротой как бы от рождения, то «мама Нюра» стала таковой в зрелые годы, когда возраст ее подкатывал к концу третьего десятка. Были когда-то у нее и свои дети – дочь с сыном, Таня и Алешка, был и муж, Алексей Пантелеевич, командир минометного расчета, который весь, до единого человека, погиб на Курской дуге, – разворотил его в упор немецкий «тигр»; смерть мужа подкосила ее, но не настолько, чтобы она впала в полнейшее, парализующее душу горе, как это случилось позже, когда один за другим умерли сначала Алеша, а потом Таня. Алеша умер под Новый, 1944 год от дистрофии: смотреть на него было невозможно без слез – умирал от истощения и в то же время ничего не мог есть, любая еда вызывала в нем отвращение; по его огромным печальным глазам, смотревшим скорбно и мудро, словно это были глаза не шестилетнего мальчика, а глубокого старца, явственно виделось, какой трудной и сложной представлялась ему мысль о собственной смерти; казалось, он все время думал о ней, как будто находился под сильнейшим гипнозом, и, наверное, так и было в действительности, потому что смерть и правда заморозила его, сначала приучила к себе, затем вытравила все желания и в конце концов навсегда прибрала к своим рукам. Но

даже и не смерть Алеши окончательно сломила «маму Ньюру», а неожиданная, странная смерть Тани. Родилась Таня двумя годами позже Алеши, а умерла два месяца спустя после его смерти. Умерла от тоски – от тоски по брату, который, как оказалось, значил для нее больше, чем жизнь, был для нее дороже, чем мать, потому что мать оставалась всегда рядом, а помощи для умирающей Тани от этого не было никакой. Тоска по брату парализовала в Тане самое главное, что есть в человеке, – жажду жизни; Таня не понимала этого, не боролась и не сопротивлялась, все происходило слепо и бессознательно, и в конце концов Таня умерла, как будто увяла, усохла – иначе не скажешь. Тут-то и накатило на «маму Ньюру» настоящее горе – когда осталась она совершенно одна, сирота во взрослом возрасте. И так это сиротство случилось быстро и неожиданно, так не готова была к нему «мама Ньюра», что горе для нее оказалось неподъемным; бывает вот, что человек терпит, терпит, может вынести Бог знает какие напасти, но наступает последняя черта, и человек враз ломается, даже узнать его невозможно. Работавшая когда-то сортировщицей на складе готового сырья, считавшаяся аккуратной и исполнительницей, беспредельно честной, бескомпромиссной, она постепенно совершенно переродилась, и докатилось дело до того, что стала она уборщицей в цехе, да и там держали ее из жалости, в память о муже, Алексее Пантелеевиче, сложившем голову на фронте, да в память о детях, Алешке и Тане, умерших все из-за той же проклятой войны. В конце концов оказалась «мама Ньюра» за воротами ткацкой фабрики, на которой проработала без малого десять лет. А жить надо, даже если жить не хочется, – стала она пробавляться случайными заработками, то мойщица, то уборщица в столовых, то котломойка в кафе. Одним словом, и сама она вскоре поняла, что пропадает, и народ вокруг, считая и соседей по квартире, думал то же самое...

Но однажды – наверное, на счастье – приснился ей вещий сон: если уж жизнь никак не шла навстречу, то пошла навстречу сонная мечта. Приснилось «маме Ньюре», будто идет она куда-то, идет – и вдруг перед ней дом стоит, заходит туда, а там много-много ребятишек, так и выются вокруг, так и выются... Удивилась «мама Ньюра», немало растрогалась, понять ничего не может, и тут неожиданно выбегает из дверей ее Танюшка, только самое-то странное, что она – в отличие от всех – «маму Ньюру» совершенно не замечает, бежит себе мимо, в другие двери. «Таня, Танюшка! – закричала «мама Ньюра», а та и ухом не повела, глазом не моргнула. – Танюшка! Дочка! Таня!» – протянула руки, закричала во весь голос мать. Закричала и... проснулась...

Проснулась... Сидит за столом, по лицу слезы текут, руки на столе лежат как плети, а вовсе никуда не протянуты. Что же это? И тут она вспомнила: рядом с ней, в пяти минутах ходьбы, в самом деле есть детдом, сколько раз, бывало, мелькала в голове мысль: зайти туда, как бы просто так, повинувшись внутренней душевной тяге, которая сродни тайне, – тяга непонятна, причина неясна, желание туманно. И вот теперь, после сна, решила: надо обязательно зайти туда, просто так. Может, не выгонят? Может, выслушают? Ведь Таня снилась... Танюшка... Наверняка в детдоме тоже какая-нибудь Таня есть. Хотя бы посмотреть на нее. Услышать ее голос...

Вот так и оказалась тогда в детдоме «мама Ньюра». В те годы приветствовалось, когда взрослые – по тем или иным причинам – опекали кого-нибудь из детдомовцев. Можно было прийти в детдом, познакомиться с тем, кто тебе понравился, и взять над ним, как тогда говорилось, «индивидуальное шефство»: пригласить в гости, сходить в кино, в театр, предложить какое-нибудь интересное занятие. Из этого и в самом деле ничего плохого не выходило, а хорошее иногда случалось. Именно поэтому Наталья Павловна Токарева, директор детдома, не имела ничего против «мамы Ньюры», так что вскоре Таня стала ходить иногда в гости к неожиданно объявившейся «родственнице»...

Отношения между ними сложились странные.

Вначале «мама Ньюра» еще как-то держалась, старалась показать себя с лучшей стороны, а потом понесло ее по прежним ухабам да кочкам, и очень скоро оказалось так, что шефство-

вала над Таней не «мама Нюра», а наоборот – Таня над «мамой». Тут была одна непонятная, но решающая странность: Тане нравилось возиться с ней. То ли она скучала по людям, за которыми можно ухаживать, присматривать за ними, а при случае и поворчать, поругать их, то ли в ней изначально теплился великий женский инстинкт – больше отдавать людям, чем брать от них, – но «крест» свой Таня несла легко, с желанием, в жизни ее – может быть, впервые – появился смысл: опекать, ругать, жалеть, наставлять неразумную «маму Нюру». Каждую субботу или воскресенье Таня приходила к ней (а чем старше становилась Таня, тем решительней и бесцеремонней она обращалась с «мамой Нюрой»), первым делом принималась за уборку, мыла полы, протирала пыль, стирала и гладила белье; готовила обед, даже ругалась с соседями, если те начинали нападать на «Аньку», похваливая при этом саму Таню: «Вот же какая умница, ну откуда такая девочка хорошая взялась... и постирать мастерица, и ужин приготовить... а эта знай себе лежит, сопит в две носопырки...» Разговоры эти Таня не выносила, хмурилась, а то и срывалась иногда: «Вы сначала мужа на войне потеряйте да детей двоих похороните – тогда ругайтесь!..» Соседей всего было трое – старик со старухой да Вера Кондратьевна, толстая, лет под сорок, баба-одиночка с вечным прищуром заплывших глаз; так вот Вера, когда услышала эти слова от Тани в первый раз, даже разлепила от удивления заплывшие веки и вечный ее прищур, прищур насмешки и превосходства, вдруг сменился на испуг – такими странными, неожиданными и нагло-смелыми показались ей слова Тани. (В будущем – на долгие годы – эта Вера Кондратьевна станет ее врагом, а со стариками Таня подружится.) Видно, не кто иной, а именно Вера Кондратьевна завалит анонимными письмами и милицию, и жэк, в которых «мама Нюра» обвинялась главным образом в трех преступлениях. Во-первых, превышение нормы жилой площади в полном несоответствии с характером трудовой деятельности и моральным обликом. Во-вторых, квартирный террор соседей. В-третьих, растление малолетних, вовлечение их в безнравственность и аполитичность – имелась в виду, конечно, Таня и ее взаимоотношения с «мамой Нюрой». Война эта длилась долго, несколько лет, а кончилась совершенно неожиданно, особенно для Веры Кондратьевны: «мама Нюра» удочерила Таню и прописала на своей жилплощади. «Удочерение», надо сказать, носило формальный характер: Таня вплоть до десятого класса продолжала жить в детдоме, а у «мамы Нюры», как и прежде, появлялась только по субботам и воскресеньям.

Вот в одну из таких суббот (Таня училась уже в десятом классе) и заметил ее Анатолий. Ну как заметил? Он и раньше ее видел (дома-то их были неподалеку, в одном квартале), бегают и бегают себе девчушка мимо, а тут вдруг присмотрелся внимательней, остановился на ней взглядом – и как-то странно стало у него на душе. Самое главное – они оба встретились взглядами – нечаянно, конечно, – и глаза ее удивили Анатолия: они смотрели так чисто и спокойно, столько в них было неподдельного доверия, – пожалуй, к любому человеку, вот хоть даже к Анатолию, которого она и знать не знает, – что он несколько растерялся. Он был лет на шесть старше Тани, многое повидал в жизни, знал и женщин – знал их, может быть, даже больше, чем нужно было; на дне души постепенно стал оседать мутный, тяжелый осадок, – впрочем, все это пока было неосознанно, непонятно, жил он, как жилось: весело – значит, весело, разгульно – значит, разгульно, изъездил полстраны, где только не побывал, потому что специальность у него была редкая и нужная – монтажник-наладчик станочного оборудования, направляют, скажем, станки в Бог знает какую тьмутаракань, так вот смонтировать их там – ерунда, главное – отладить работу, да так, чтобы ни сучка ни задоринки, и вот живут монтажники в этой самой тьмутаракани месяц, и два, а то и три, живут как у Христа за пазухой, обрастают знакомствами, обязательно находятся женщины, которые без памяти влюбляются в московских донжуанов, начинаются любовь, драмы, сцены, одним словом – хоть работы и невпроворот, а жизнь веселая, интересная, наполненная событиями, похождениями и приключениями. Чего только не было в жизни Анатолия за прошедшие годы, а вот таких глаз, как у Тани, он, пожалуй, еще не встречал: это были глаза девочки, но в то же время – как будто мудрой, все-

понимающей женщины (возможно ли это?), в них было столько чистоты и доверия, но в то же время из глубины глаз светился как бы мягкий укор миру (но только за что?), они были наивные и простодушные, но в то же время смотрели зорко, приметливо (странно, странно!). Анатолий увидел эти глаза, встретился с ними взглядом, прошел мимо, что-то случилось с ним, остановился, оглянулся – и она остановилась, оглянулась (но она-то почему?) и смотрела на него, как бы ожидая какого-нибудь слова или действия, он скривил губы, усмехнулся (усмехнулся над самим собой, потому что разглядел ее фигуру, совсем девчоночью: узкие худые плечи, тонкие ноги, маленькая детская грудь), а она то ли не поняла его усмешки, то ли подумала, что он просто улыбнулся ей, – улыбнулась в ответ, повернулась и пошла-побежала дальше...

Потом он уезжал, приезжал, пропадал на несколько месяцев, забывался с другими женщинами, но в глубине души, на самом ее доньшке, теплилась в нем память о Таниных глазах, о всей ее щедедушной худенькой фигуре, о какой-то ее беззащитности, которую он не столько понял, сколько угадал, но в беззащитности этой был какой-то вызов, стержень: да, беззащитна, хрупка, но в обиду себя не дам... Может быть, впервые в жизни Анатолий задумался о чужой жизни... Раньше он людей воспринимал лишь в связи со своими собственными интересами и желаниями, все вокруг существует лишь только потому и затем, что есть на свете ты, из всего на свете надо извлекать выгоду и смысл, а иначе для чего и дана тебе жизнь? А тут – странно – хотелось ему пожалеть, приголубить чужого человека, хотелось самому сделаться лучше, так показать себя перед ней, чтобы она гордилась: во-он, оказывается, какой он, не такой, как все, он сильный, добрый и хороший... И когда теперь Анатолий встречался с ней, он обязательно хоть что-то говорил Тане. Вначале она гордо проходила мимо, даже не повернув головы (вдруг он смеется, ведь он на столько лет старше ее!), но однажды не выдержала, рассмеялась весело, можно даже сказать – прыснула. Он сказал:

– Верблюды, между прочим, тоже гордый. А человека уважает...

Вот тут она и не сдержалась.

– Кстати, – добавил он, – у меня бутерброды есть.

– С колбасой? – спросила она, продолжая улыбаться.

– Есть с колбасой. А есть, – он достал из кармана сверток, развернул его, – и с рыбой.

Между прочим, дальневосточная горбуша.

– Хвастаетесь? – спросила она.

– Немного, – сказал он. – Потому что если ты побывал на Дальнем Востоке и не привез оттуда рыбы – ты не мужчина. Так говорят мои друзья...

– Вы бывали на Дальнем Востоке?

– Ошибка в постановке вопроса. Лучше спросите: Анатолий, где ты еще не бывал?

– Анатолий, где вы еще не бывали?

– Например, не бывал в Австралии. В Новой Зеландии. В Англии не бывал. И даже в Америке тоже пока не бывал. Что касается просторов отчизны – бывал везде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.